МОЛИТВА В БЕЗДОЖДИЕ

Повесть

1

Когда деревенские стали судачить по весне насчёт будущего водополья, бывший агроном Макар Дельнов большей частью помалкивал, а в конце марта, на день Алексея Тёплого, отыскал на кухне, в посудной горке, большой ребристый стакан и, припадая на правую, увечную, ногу, отправился на огород.

От синего неба и яркого солнца снежный наст казался слегка подсинённым и промасленным. Снег ещё не зазернился, не выметал в возвышающихся волнами сугробах плодоносную икру, но возле нагретых яблоневых комлей уже успели обозначиться неглубокие блюдца.

В ветках калины с остатками пожухлых ягод весело насвистывала овсянка: «По-кинь сани, возь-ми воз!»

Перед ясным ликом солнца Макар снял лохматую шапку, постоял, понежился, глядя на небо, весенними безгорестными слезами и неторопливо, угадывая занесённую тропку, направился в тень, к сараю, где лежал чистый снег.

Потрогал пушистый нанос и стал аккуратно, щепотками, набивать гранёный стакан. Попримял прокуренным пальцем содержимое до «дунькиного пояска» и, переждав лёгкое головокружение, вернулся в натопленную избу.

После оттайки в стакане набралась какая-то треть воды-снежницы.

– Большого разлива не будет! – уверенно сказал Макар и успокоил жену: – За погреб не опасайся. Картошка не поплывёт...

По берёзе, которая распустила листочки наперёд ольхи, Макар предсказал и сухое лето, но даже он не догадался, что грядёт редкая жара, которую на старых барометрах обозначали как «Великая сушь»...

Так уж велось с незапамятных времён: земля – матушка, небо – отец, а дождь – кормилец. Дождь льёт, земля пьёт, а хлеб растёт.

Умели древние люди уговаривать вольные ветры, вызывать благодатные дожди:

– Ты подуй-ка, ветер-ветрило, теплом тёплым, ты пролей-ка на рожь, на яровину яровую, на поле, на луга дожди животворные, к поре да ко времечку...

Призывали наши предки на помощь Христа-Спасителя, не забывали и о его светоносной матушке – Богородице:

– Матерь Божья, подавай дождя на бабину рожь, на дедовую пшеницу, на девкин лён...

С великой радостью, с широкой улыбкой встречали люди намоленный небесный дар:

– Дай Бог дождю, в толстую вожжу! Лей, не жалей! Не ситцем просей! Сухой нитки не оставь, пробей до самых костей! Уж дождь дождём, поливай ковшом!..

И какие только дожди не выпадали на землю-матушку: и мелкий дождь-ситничек, и морось, что мельче ситничка, и ливень, и косой дождь-подстёга, и окатный...

И вставала над орошённой землёй семицветная радуга-дуга. Высокая и крутая – к вёдру, пологая и низкая – к ненастью.

Ушли в мир иной седобородые предки, унеся с собой многие приметы, накопленную веками хлебопашескую мудрость, и остались на земле их обделённые потомки наедине с карающим, как Божий меч, солнцем.

В это лето дневное светило было как никогда беспощадным. Казалось, ещё чуть-чуть, и люди растворятся под его пристальным огненным оком, словно росинки на утренней траве. Единственный пруд в Берёзовке забродил от жары и покрылся пузырящейся, словно лягушачья икра, ряской. В зелёных разводьях плавала дохлая рыба. А в кронах деревьев, задолго до естественного увяданья, тревожно – будто таящийся огонь – заиграли лиственные «зайчики».

Вслед за устойчивой жарой последовали, пока дальние, лесные пожары. Вместо дождевых облаков похожая на них дымная наволочь рассеялась над Берёзовкой. Эта завесь прикрывала солнце, но не приносила желанного облегчения: небесные стрелы вязли в дыму, но стало душно так, как будто сверху набросили одеяло.

Казалось, вышние силы уготовили грешному человеку печальный выбор: или сгореть под лучами беспощадного солнца, или же задохнуться в смрадном дыму.

Глубоким вечером, когда солнце нехотя скатилось за горизонт и сквозь серую дымку смутно проглянула окрашенная в красные тона луна, супруги Агафоновы вышли на безлюдную деревенскую улицу. Одеты они были скорее по-осеннему, чем по-летнему: на Фатее была плотная, застёгнутая на молнию, ветровка, а Аннушка, спасаясь от злых комаров, закуталась в шерстяную кофту.

Фатей, как в молодые студенческие годы, взял Аннушку под локоток, и они неторопливо пошли по выщербленному асфальту к лесной окраине.

Старая деревня умирала, но кое-где ещё оставались сосновые избы с искусной резьбой: резные наличники и накладки по карнизам, резные крылечки и светёлки на крышах, похожие на маленькие терема. Сейчас, ввечеру, эти радующие глаз избы были окутаны не столько серой мглой, сколько голубоватым, саднящим горло, дымком,

Фатей не ожидал встретить гуляющих на пути: ну кому придёт в голову дышать перед сном таким воздухом? Но, похоже, для кого-то и домашняя духота оказалась не слаще горьковатого дыма.

Не дойдя до Агашиного проулка, Агафоновы встретили двух сестёр-дачниц, приехавших в отпуск навестить свою заколоченную избу.

Послышался тихий рессорный скрип... Это вышли на прогулку старомодная, в соломенной шляпке, городская бабушка и её внучка-инвалид. Чтобы не упасть, девочка, страдающая церебральным параличом, катила перед собой пустую детскую коляску.

Постукивая палкой, показалась на дороге престарелая бабушка Акулина, над которой так любит подшучивать деревенский озорник Серёга Черкашин по прозвищу Агдам. Встретит Агдам бабушку на улице, весело ощерится: «Бабушка Акуль, ты родом откуль?» – «Известно откуль! – ответит бабушка. – Из Берёзовки!» – «Ну-ну! – согласится Агдам. – А я-то думал: из Туртапки!» – «Из какой такой Туртапки?» – удивится бабушка. «Из той Туртапки, где шьют коровам тапки. Чтобы копыта себе не повредили...» Прищурится подслеповатая старушка: «А ты, случаем, не Васьки Клёка, покойного, сын?» – «Да. А что?» – «Уж больно ты горазд языком молоть...»

Ладно бы один Агдам её разыгрывал... Кажется бабушке, что вся её остатняя жизнь превратилась в сплошной розыгрыш: то пошутят, что дым в Берёзовку из самого Подмосковья пришёл, то родная внучка, глазом не моргнув, скажет: «Знаешь, баушка, откуда у нас куриные окорочка? Из Америки привезли...»

Покивает бабушка – так-так, внученька! – а про себя подумает: «Враньё! Чистое враньё!»

Вот и сейчас, вытирая заслезившиеся глаза, бабушка пытается понять странный, ускользающий от неё мир:

«И откуда всё-таки этот вонючий дым взялся? Не из Америки же его пригнали. Всякие дымы знавала, а такого дурного ещё не видывала. Да, было дело, по весне сухую траву палили, по осени ботву жгли. Так накадят, что за версту учуешь. Правда, дым какой-то лёгкий был, душистый. А сейчас будто поросёнка палят...»

Идёт Акулина робким стреноженным шагом, то и дело останавливается. Приложит клюшку к груди, словно рабочий заступ, и внимательно, порой с заметным испугом оглядывается по сторонам. Кажутся ей избы в дымном полумраке какими-то чужими, незнакомыми. Будто и впрямь оказалась в какой-то неведомой Туртапке. Хорошо, что знакомые по дороге попадаются. Это успокаивает...

– Здравствуйте, Акулина Петровна! – говорит Фатей. Он всегда называет бабушку, «вышедшую из годков», по имени-отчеству.

– Здра-асьте, ми-иленькие! – напевно отвечает Акулина. – Ножки решили подразмять?

Какой там подразмять! За день на огороде Фатей и Аннушка так уходились, что впору пластом ложись. Однако им не хочется разубеждать старушку.

Аннушка интересуется здоровьем Акулины.

– Какое в мои годы здоровье! – говорит бабушка. – Хожу еще. Родным не в тягость, и на том Господу спасибо!

Старушка, похоже, намолчалась за день, и теперь ей хочется поговорить. Фатей и Аннушка терпеливо слушают. Поддерживая разговор, задают вопросы, которые можно было бы и не задавать. Облегчив душу, Акулина смолкает.

– Заболтала я вас! – говорит она. Глаза моргают плачуще, виновато.

– Ну что вы! Что вы! – дружно успокаивают Агафоновы и тем же неторопким, прогулочным шагом следуют дальше. И никто не догадывается, что сегодня на их долю выпала особая «миссия»...

Неделю тому назад староста Василиса, опасаясь пожара, решила организовать в Берёзовке ночное дежурство. Начала она со своих, деревенских, а потом решила обратиться к Агафоновым, которые, наезжая в деревню давно, из года в год, уже успели превратиться в коренных жителей.

– Может, подежурите? – вежливо предложила Василиса.

Фатей улыбнулся:

– А как насчёт колотушки?

– Ишь чего вспомнили! – удивилась Василиса. – Ходили когда-то с колотушками. Да и рында была. Пожарку свою имели. Каждый знал, с чем на пожар бежать. Кто с вёдрами, а кто с багром... А теперь в город придётся звонить. Пока доедут, полдеревни сгорит!

Взамен колхозной рынды, которая звала не только на пожар, но и отбивала рабочий полдень, Василиса повесила напротив своей избы, на старой ветле, прохудившийся таз –может быть, хоть на него не польстятся местные ханурики, – а тележный шкворень спрятала под лавкой, возле крыльца: бейте, если что!

Гасли окна. Среди ночного безлюдья два пожилых человека, гуляющих из конца в конец деревни, выглядели довольно странно.

– Нужно где-нибудь посидеть! – сказала Аннушка.

Послышалась музыка – словно полузабытая молотилка дробно застучала на хлебном току. В густеющем сумраке обозначилась парочка с магнитолой. Заметив Фатея с Аннушкой, молодые неуверенно поздоровались. В их голосах звучало удивление.

Фатей, улыбнувшись, легонько подтолкнул Аннушку плечом: знай, мол, наших!

И Аннушка, вспомнив, как они, забыв о времени, когда-то бродили до утра, понимающе сжала руку Фатея.

Приглядевшись, Фатей обнаружил врытую скамеечку возле нежилой избы.

– Здесь? – на всякий случай спросил Фатей. Он знал, что Аннушка согласится.

– Да, – ответила она. – Спокойное место.

Они присели под мутно отливающими незрячими окнами чужого дома, и сразу же Аннушка потянулась к своей дамской сумочке.

– Наденешь? – Она протянула мужу марлевую повязку.

«Только намордника не хватало!» – подумал Фатей. Однако повязку взял, даже прикрыл ею нос, проверяя, как дышится.

Аннушка нацепила повязку и стала похожа на врача. Она взглянула на безучастного к её заботе Фатея и сказала – словно поддразнила:

– Получше стало...

Фатей хмыкнул и положил повязку на колено. Аннушке показалось, что муж по-детски капризничает. Пожалуй, и сам Фатей не догадывался, что скрывается за его упрямством. А ведь он противился не Аннушке – это было бы слишком просто и обыденно. На самом же деле Фатей не желал покоряться природной стихии, делающей людей слабыми и неестественными. И, сопротивляясь, он невольно чувствовал то, что хотелось чувствовать: ему казалось, что с повязкой было душно, а горечь как была в горле, так и оставалась – легче не становилось...

Они сидели рядом, стараясь не касаться плечами: накопившаяся за день жара медленно исходила из их тел. И словно от хорошо натопленной русской печки, веяло от избяного сруба.

Фатею показалось, что сквозь кислый, ставший привычным дым начал пробиваться сладковатый запах цветущей сирени.

– Чуешь: сиренью пахнет? – шёпотом спросил Фатей.

Аннушка пожала плечами.

«Без повязки почуяла бы!» – подумал Фатей.

Какие-то существа стали бесшумно вылетать из застрехи избы. Они стремительно появлялись и, покружив, прятались в своём прежнем укрытии. Их полёт был каким-то замысловатым, ломким – так не могли летать обычные птицы. Несколько раз они так близко пронеслись от Фатея, что он ощутил на своём лице чёткий росчерк дуновения.

– Летучие мыши! – спокойно сказала Аннушка. – Играют.

Фатею вспомнилось другое название.

– Нетопыри! – сказал он. Ну, конечно, в такую ночь должны летать только нетопыри.

Серая обложная пелена над спящей Берёзовкой чуть посветлела.

Фатею хотелось, чтобы, как в прежние годы, вовремя появились и ласково обогрели отдохнувшую за ночь землю рассветные лучи и на высоких укосных травах живо заиграли радужные росы. Но не прорывались лучи сквозь небесную завесь, травы были вялыми, понурыми, без влажных искорок, и обычное летнее утро казалось бесконечно затянувшимся, украденным. И вдруг в глубокой обморочной тишине робко, словно весенний росток, проклюнулся голос зорянки. Птичка радостно журчала, смелея с каждой трелью, и, вторя ей, на разные лады загомонили другие птахи.

– Слышишь? – заволновался Фатей. – Слышишь?

– Слышу! – тихо отозвалась Аннушка. Она сняла с лица марлевую повязку и снова стала обыкновенной, близкой.

С таким жадным вниманием Фатей, наверное, не вслушивался в жемчужный перещёлк майских соловьев.

– Пахнет, – неожиданно сказала Аннушка.

– Чем пахнет? – не понял Фатей.

– Сиренью! – сказала Аннушка. – Махровой сиренью. Помнишь, как мы искали в ней «счастье»?

– Да! – Аннушка улыбнулась. Помолчав, он взглянула на светящийся экран мобильника и, сдержанно зевнув, предложила: – Может, домой?

– Подожди немного! – Фатей умоляюще, как в пору юности, глянул на Аннушку. Она кивнула.

Они, не сговариваясь, поднялись одновременно. Фатей почувствовал, как у него затекли, одеревенели от долгого сидения ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, он с наигранной бодростью замахал руками. Сколько ни маши, а на восьмом десятке далеко не улетишь! И Аннушка тоже, словно квочка после насеста, неуверенно топталась на месте.

– Сделаем кружок? – предложил Фатей.

Аннушка согласилась.

Разминая ноги, они ещё раз прошли деревню из конца в конец. Рассеянным дымком тянуло от Ближнего леса, но дома, слава богу, не горели.

Наконец, с чувством исполненного долга Агафоновы вернулись в свою избу.

И как только открыли внутреннюю дверь, Аннушка сразу же включила свет, задёрнула плотные, спасающие от утренних лучей шторы и включила самовар...

Соблазнительно запахло травяной заваркой – мятой и мелиссой.

Фатей незаметно для себя – словно вдохнул – выпил два бокала, вспотел. Он почти переборол сон, но сейчас его больше всего угнетала усталость. Хотелось вытянуться на постели в полный рост, отдохнуть хорошенько, чтобы выдержать новый день.

Он, то и дело оступаясь, медленно разделся и лёг поверх одеяла. Из полураскрытого бокового окна, выходящего в сад, тянуло едва заметной утренней свежестью. Было слышно, как похрустывает рассохшимися суставами старая сосновая изба. Матица тоже поскрипывала – казалось, по чердаку продолжает бродить ошалевший от дневной жары домовой. Из потолочных пазов сыпалась на пол древесная труха.

Отгоняя беспокойные мысли, Фатей незаметно уснул. Сон его был неровный, рвущийся. Иногда он проваливался в неизведанную бездну, где обитали покинувшие земной мир родные, близкие сердцу, люди. Они, светлые, бестелесные, стараясь не соприкасаться с ним, кружили возле Фатея и говорили, как ему казалось, что-то важное и пророческое. Он пытался запомнить сказанное, но почему-то забывал.

Напрягая память, он просыпался и, мучаясь от неопределённости, засыпал. И наконец окончательно проснулся, ощутив, как по его лицу настойчиво ползают какие-то мелкие существа. Морщась, он попытался отмахнуться от них, как обычно отмахивался от комаров и мух, но это не помогло.

Оказывается, по его разгорячённому лицу ползали капли пота.

Наручные часы, лежащие рядом, на журнальном столике, показывали одиннадцать. Так поздно Фатей никогда не вставал....

Аннушка уже хлопотала на кухне, готовила завтрак. Фатей почувствовал знакомый запах яичницы и тяжело вздохнул: есть ему не хотелось. Эх, была бы его воля, перешёл бы он в последнее время полностью на хлеб да квас – довольствуются же другие люди малым, не умирают! – но жена, следуя строгому правилу, продолжала пичкать его по утрам омлетами и кашами, и однажды, когда он, возражая ей, спросил: «А как же живут монахи?», Аннушка, не запнувшись, ответила: «Нам далеко от них. Монаха и молитва питает».

Наскоро перекусив, Фатей вышел в сад-огород. Прошёлся по дернистой, выгоревшей до желтизны, дорожке, разглядывая, как растут после вчерашнего вечернего полива овощи, печально покачал головой и вернулся ко двору, под стоками которого стояла железная бочка и выброшенная за ненадобностью большая эмалированная ванна. Воды в бочке было на донышке. Ванна тоже была вычерпана, и на днище, в зеленоватой лужице, беспомощно барахталась пчела.

Фатей взял длинную жёсткую травинку и помог пчеле выбраться. Он даже посадил её на листок лопуха, чтобы она там, на припёке, не-  
много пообсохла, и заметил, в какую сторону полетела...

«Стёпкина пчела!» – догадался Фатей. Зайдя во двор, он взял самые лёгкие, пластмассовые, вёдра, подтянул брючный ремень потуже, на-  
двинул поглубже белую, с клювом-козырьком, бейсболку и размеренно-неторопливым шагом человека, который решил ходить долго и упорно, направился к воротам.

Ближний колодец, довольно крепкий и ухоженный, находился недалеко от его избы, в каких-то сорока метрах. Экономя время, Фатей ходил туда самым коротким путём, наискосок, мимо молодой липы, посаженной Одноруким, и протоптал перед соседским домом заметную тропку. Однорукий помалкивал, но порой Фатей ловил его недовольный взгляд: мол, чего тут ходишь? нельзя, что ли, в обход?

Опуская прикованное ведро в колодец, Фатей по оставшимся кольцам цепи на барабане без особого труда угадывал уровень воды. Весной, когда дачный сезон только начинался, приходилось недолго крутить захватанный до блеска железный ворот. Грунтовая вода, проникшая в колодец, была мутной, с характерным, снеговым, привкусом.

По мере того как приближалась макушка лета, всё глубже и глубже опускалось «мирское», купленное вскладчину, ведро, и всё чище, радуя глаза небесной голубизной, становилась колодезная вода...

Придерживая свободной рукой убегающую цепь, Фатей, дожидаясь глубинного всплеска, опускал железное ведро. За ночь вода в колодце прибывала, и всё же с каждым днём иссякали родниковые токи.

Сейчас на деревянном барабане оставалось пять перехлёстнутых колец. Прошлым утром их было шесть.

Неторопливо, боясь расплескать, Фатей заполнил свои пластмассовые вёдра. Выпрямившись, невольно взглянул на обрывок пришпиленного к опорному столбу объявления – сельская администрация запрещала использовать питьевую воду для огородного полива.

Наполнив ёмкости, Фатей не повесил прикованное к цепи ведро на крюк, а поставил рядом со срубом, на приступок. Как бы предупредил других: скоро вернусь!

На этот раз Фатея опередила дачница-пенсионерка Полина Суворова. Не успел он выплеснуть вёдра в бочку, как она появилась возле колодца со своей жалобно повизгивающей самодельной тележкой, уставленной разнокалиберной посудой.

– Здравствуй, Николавна! – по-свойски сказал Фатей.

Она деловито кивнула. Переливая ведро, пожаловалась:

– Ну и сухмень! Сколько ни лей на грядки, а лучше дождя не польёшь!

– Високосный год, – напомнил Фатей.

– Теперь каждый год високосный! – сказала Полина. – Просишь добра, а ждёшь худа.

– Кому как, а нам эдак! – согласился Фатей.

Из проулка выбежала босоногая девчонка. Переводя дух, она донесла:

– Баушк-баушк, а Васька лягуху в баклуше поймал!

– Ну и что? – равнодушно отозвалась Полина.

– Ва... Васька, – заволновалась Алёнка, – хочет лягуху убить. Я его отговаривала... Говорю: а может, это царевна-лягушка? А он не слушает. Говорит: поиграю с ней и убью. Если лягушку прикончить, то дождик пойдёт. Правда, баушк?

– Вот ирод! – возмутилась Полина. – Ремень по нему плачет!

Фатей улыбнулся, но быстро изменил выражение лица. Стараясь выглядеть серьёзным, уверенно, по-учительски, сказал:

– Ошибается Васька. Чтобы дождь пошёл, нужно не лягушку убить, а змею. Гадюку. А лягушку лучше не трогать – короста может по рукам пойти...

– Правда? – просияла Алёнка и, поправив за спиной пшеничную косичку, помчалась к брату Ваське с докладом.

Фатей помог Полине развернуть тяжёлую тележку в нужную сторону и взялся за скользкий, будто смазанный маслом, железный ворот.

К колодцу стали подтягиваться и другие водоносы. Тяжело, по-медвежьи, ступая, подошёл Стёпа Пчельник, от которого, казалось, пахло за версту воском и мёдом. Стряхивая с брюк травинки, Стёпа поделился с Фатеем:

– Со взятком, Иваныч, кранты. Луга бедны, да и на липу особой на-  
дежды нет. А кормиться пчёлам надо. Вот развёл сахарку в тазике, набросал туда сенца...

– Сено-то зачем? – не понял Фатей.

– Чтобы не утонули.

Занявшая очередь Лиза Стряпуха, сокрушённо охая, стала рассказывать о своём недавнем походе за земляникой:

– Пошла, значит, за Волчий овраг, в луга. Там ягод всегда полно было. Всё выгорело... Я – дальше, в лес. Думаю, хоть там, в тени, что-нибудь найду. Пустой номер. Посохла ягода, одни пупырики. А за Путилинской дорогой все ягодники кабаны разворотили. Перепахали, как трактора. Смотрю: пласты лежат. И что они там искали? Может, какие сладкие корешки?

– Подожди! – весело сказала бабка Лукерья, пристроившаяся к водоносам просто так, для разговора. – Скоро эти кабаны и к нам, на огород, заберутся. Всё слопают: и корешки, и вершки...

– Не каркай! – рассердилась Лиза.

Фатей наполнил бочку, принялся наливать ванну. В своём терпеливом хождении он чем-то напоминал тягловую лошадь – разве что головой не поматывал в такт неторопким шагам.

Захотелось пить. Тут же, не отходя от колодца, напился из своего ведра. И чем больше пил, тем сильнее хотелось пить.

«Нет! – сказал себе Фатей. – Так дело не пойдёт!» – и, помучившись, отстал от вгоняющего в обильный пот водопоя.

Фатей устал, и ему стало казаться, что ванна прохудилась: льёшь-льёшь, а ёмкость едва заполняется. Он даже пощупал внешнюю сторону запотевшего днища: нет, нигде не протекает!

Он выплеснул последнее ведро, с облегчением подумал: «Ну, всё!» – и, расслабившись, ощутил дрожь в коленях и ноющие от постоянного напряжения плечи.

Ему хотелось поскорее пройти в избу и упасть, не раздеваясь, на выцветший, с поющими пружинами, диван. Но он, подумав, решил отсрочить блаженство отдыха. Нужно было посмотреть, как идут дела у Аннушки, и, если требуется, помочь.

Опустившись на землю, Аннушка пропалывала морковь. Казалось, она истово, коленопреклонённо молится, отдавая низкие поклоны матушке-земле. Ощущение глубокой сосредоточенной молитвы особенно возникало тогда, когда Аннушка подносила руку ко лбу, поправляя свой белый, по-крестьянски завязанный, узелком на затылке, платочек. Ещё чуть-чуть, и она смиренно перекрестится под куполом неба...

Покачиваясь от усталости, Фатей подошёл к Аннушке:

– Как дела?

– Душат! – тихо сказала она.

Живучая травяная дурнина была готова извести худосочную морковь. Ещё на прошлой неделе Аннушка пропалывала редкие, посаженные на лентах, всходы, но, словно в бездонную пропасть, канули её усердные труда: как она ни выдирала руками, как ни подсекала острой мотыжкой разгулявшиеся сорняки, всё же оставались в земле корешки-обрывыши, и вскоре, дождавшись полива, быстро, будто наперегонки, пошли в рост осот и пырей, вьюнок-повилика и даже хрупкие, с пустотелыми стебельками, одуванчики.

Аннушка уже наполнила корзину сорной травой и теперь набивала, приминая, вёдра. Фатей подошёл к корзине, взялся обеими руками за скрипучие плетёные ручки и, подтянув ношу к животу, направился к компостной куче.

Хотя и выплёскивали на подвядшую траву помои, куча быстро подсыхала и теперь подрагивала от прикосновения корзины, словно полевой стожок. Фатей знал: не будет обильного дождя – не жди и нужного, как навоз, травяного перегноя, и если есть надежда, то только на обмочливую осень и щедрые снега.

– Может, хватит? – Фатей поставил пустую корзину возле мусорных вёдер. – Вечером дополешь...

– Вечером найдутся другие дела! – сказала Аннушка, вытирая тыльной стороной ладони пот с разгорячённого до малиновости лица. – Ещё немного поработаю. А ты зелени к окрошке набери. Может, огурчиков найдёшь.

Фатей отдышался, отыскал в брючном кармане скомканный целлофановый пакетик и устало пошёл к томящимся грядкам.

В жару, как никогда, размножалась неприхотливая огородная нечисть. Какие-то чёрные прыткие блошки проточили насквозь листья редиса.

«Надо посыпать золой!» – подумал Фатей.

Среди жилистых несъедобных корешков редиса ему всё-таки удалось обнаружить несколько краснобоких репок.

В гуще шероховатых, неестественно колючих, как осот, огуречных листьев Фатей нашёл несколько крупных – в палец величиною – огурцов. Огурцы не давались, пытались выскользнуть из потных рук.

Посаженный на перо лук начал стрелковаться. Еще не успевшие покрыться жёсткой кожурой репки оказались наружи, выдавленные сухой землёй. Фатей наломал пучок сочных стрелок и добавил к ним немного перьев, слабых, поникших, но не потерявших зелёный окрас.

Как ни странно, сложности возникли с укропом. Несколько лет тому назад укроп, что называется, дуром пёр на огороде Агафоновых. Его даже не пытались сажать. Укроп, не спрашивая желания хозяев, вырастал самосевом. Фатей и Аннушка ели пряную зелень живьём, заготавливали впрок – сушили и солили – и, не испытывая угрызения совести, обращались с укропом, словно с заурядным сорняком, выбрасывая в компостную кучу. И, словно обидевшись на такое обращение, укроп однажды исчез.

Изрядно намозолив себе глаза, Фатей с трудом отыскал несколько вихрастых кустиков.

После укропа ему захотелось набрать огуречной травы. Сейчас, когда худо-бедно стали появляться огурцы, казалось бы, в этой зелени отпала всякая надобность, но Фатей, считавший, что в каждой травке есть своя, неповторимая польза, не мог удержаться от соблазна сорвать несколько листьев вольно растущей «огурешницы». Вместе с листьями он попутно нащипал и цветущих венчиков, напоминающих своей голубизной майское небо.

Наконец хозяйственный пакет заполнился...

Ах, на славу удалась окрошечка! Не из покупного бочкового кваса, разбавленного хитрованом-продавцом, а из своего, доморощенного, изготовленного на дрожжах и ржаных сухариках, с добавлением сушёной свёклы. Чудо-квас ударял в нос и, приятно охлаждая тело, растекался по всем внутренним протокам. Фатей медленно, с удовольствием поглощал окрошку, чудесным образом соединившую в себе лёгкую еду и отменное питьё, и, погружаясь в прошлое, вспоминал послевоенную мурцовку и даже дедовскую расписную ложку с вырезанным крестиком на черенке.

После обеда неумолимо повело в дрёму. Но прежде чем устроиться на диване, Фатей по укоренившейся привычке решил полистать свежие газеты, привезённые из города.

Центральную прессу лучше было читать в обед, а не на сон грядущий: в Африке выпал снег, Европу заливало водой, а измученная «реформами» Россия надолго погрузилась в невиданное пекло. То, что делала вышняя российская власть, не укладывалось даже в одурманенную жарой и дымом голову: почему-то ликвидировали единую федеральную пожарную охрану лесов, резко сохранили число лесничих, а заповедные красноствольные угодья отдали на растерзание арендаторам.

Леса, оставленные без государственного призора, должны были рано или поздно вспыхнуть, как порох.

Горели леса. Горела Россия.

Тяжек послеобеденный отдых в такую жару: Фатей то дремал, то полуспал, мучаясь неопределённостью своего состояния, ворочался с боку на бок и наконец вяло и неуверенно, словно собирая себя по частям, поднялся с дивана. Пройдя на кухню, подставил тяжёлую голову под умывальник. Вода была неприятно тёплой...

Огород невелик, а лежать не велит. Фатей занимался поливом поздно вечером, когда ярое солнце скрывалось за размытым горизонтом и влага, испаряясь, всё же могла сохраниться до утра.

Фатей относился к своим овощам, как к детям малым: ведь он отбирал семена, проращивал, поливал их весенней водой-снежницей, радовался, когда они, окрепнув, пускались в быстрый рост. И мог ли он теперь, перечеркнув заботы, бросить их на произвол судьбы?

Каждый овощ требовал особого полива: где-то можно было обойтись лейкой, а где-то требовался ковш, чтобы плеснуть под самый корешок.

Вот и сегодня Фатей, собравшись с силами, занялся делёжкой   
воды.

Здравствуй, морковь-краса, зелёные волоса, сидишь в темнице, а коса на улице! Я тебе водицы принёс умыться.

Ах, ты, свёкла, румяная Фёкла, что же ты, бесстыдница, из земли вылезла? Что тебе там не сидится? Хлебнуть водицы торопишься?

А вот и огурцы-огольцы, тянутся во все концы, листики завяли – будто их помяли. Сейчас я вас окроплю! Ишь как встрепенулись!..

Ну а что с тобою делать, капуста-водохлёбка? На многое не рассчитывай! Плесну не слишком, под каждую кочерыжку. На том закончу и луком-бедолагой займусь!

Ах, лучок-лучок, что согнулся, как крючок? Ты ещё не старичок. Дам воды напиться, чтобы распрямиться...

Пока Фатей с шутками-прибаутками обихаживал своих выкормышей, Аннушка обрывала на красной смородине больные листья. Какая-то зараза завелась в кустах, окутывая кудряшки ягод липкой паутиной и покрывая листья волдырями.

– Оставь ведра два! – попросила Аннушка.

– Цветики? – не без ехидства спросил Фатей.

– Ну да. Давно гладиолусы не поливала.

– Может, и ведёрка хватит?

Аннушка промолчала.

Фатей поворчал, но уступил жене.

Он завершил полив и решил просто так, без особой цели, побродить по участку. Поправил ослабшую привязь на помидорах, полакомился мелкими ягодами выродившейся малины и, низко пригнувшись под разлапистой антоновкой, выбрался на серединную тропку, ведущую в глубь огорода, – там, за оградой из сосновых жердей, томилась картошка.

Фатей потянул на себя дверцу, не заметную в ограде, и вышел на простор...

Больно было смотреть на восковые поникшие плети с осыпающимися соцветьями. По жухлым листьям ползали колорадские жуки, откладывая жёлтые россыпи личинок.

Только позавчера бродили по этим бороздам Фатей и Аннушка, собирая в банки с подсоленной водой полосатых жуков и розовых, перемещающихся, словно улитки, прожорливых личинок, и что же? – снова выбралась живучая заморская нечисть из своих затенённых укрытий и грызёт без зазрения совести его любимую «синеглазку».

В печальной задумчивости стоял Фатей возле исходящих сухим теплом картофельных борозд. В глухих бурьянах, на месте бывшего колхозного поля, скрипел коростель – казалось, ехала неведомо куда одинокая телега с несмазанными колёсами.

Багровое солнце, то тускнея, то усиливаясь в своем тревожном цвете, медленно скатывалось за железнодорожную лесополосу. Вот скроется оно, и дымная наволочь, соединившись с серыми ползучими сумерками, прихлынет высокими волнами к Берёзовке, грозя затопить ее со всех сторон. Скворечни на длинных шестах, прибитых к заборам, будут казаться парящими в воздухе, а чёрное вороньё напомнит принесённые ветром хлопья пожара.

В такие минуты Фатей, как никогда, ощутит свою человеческую малость и незащищённость в большом неспокойном мире. Кисловатый дым обретёт морскую солоноватость, и волны, набегающие на деревню, создадут ощущение всемирного потопа.

Фатей, не понимая, что происходит, замрёт на травянистой меже. И наконец, какими-то урывками, к нему пробьётся отрезвляющий запах пижмы и ромашки, и он догадается, что ещё не разверзлись хляби небесные, и он продолжает стоять на земной тверди.

И, осознав, что этот день не принёс ему ничего утешного, Фатей будет настраивать себя на новый, изматывающий душу, житейский круг: колодец, прополка, скудный вечерний полив...

2

Верно говорят: не купи двора – купи соседа. Прежде чем обзавестись добрыми соседями, Фатей исходил всю округу, приглядывая избу по сходной цене. Хотелось, чтобы рядом были лес и речка – ну не речка, так озеро, если не озеро, так хотя бы глубокий пруд, возле которого можно посидеть на зорьке с удочкой.

Долго ходил Фатей по окрестным деревням. Он к местным присматривался, а они – к нему. Встречались и такие, кто поглядывал на Фатея с подозрением – бог знает, что у него на уме! – однако со временем деревенские, покрутив Фатея с разных сторон, поняли, что перед ними человек порядочный, и, расположившись, подыскали ему не только сговорчивого продавца, но и добрых соседей: «У других межи и грани –   
ссоры да брани. А эти по-людски живут...»

Вот так и прикупил Фатей к деревенскому пятистенку надёжных соседей. Слева от него Рожновы – дедушка Аверьян и бабушка Прасковья, а справа – соседи помоложе, Рая и Александр. Рая работала на молочной ферме, а её муж, прихватив с собой обеденный «тормозок» – чёрного хлебушка, сальца и пару сваренных вкрутую яиц, – почти каждое утро отправлялся пригородным поездом в локомотивное   
депо.

Соседи достались простые, недокучливые, не из тех, кто в чужом глазу соринку видит, а в собственном бревна не замечает. Особенно клонились Агафоновы к Аверьяну и Прасковье. Каждый раз, собираясь в деревню, Фатей и Аннушка прикидывали, чем бы угостить добрых старичков.

– Пожалуй, я пирогов напеку... – размышляла Аннушка. – Может, и колбаски купить? Которая помягче...

– Конечно. Какой разговор! – соглашался Фатей. – Нужно и лекарство захватить. Помнишь, Аверьян Петрович на давление жаловался?

В летнюю пору Аверьяна и Прасковью проще было застать в огороде, чем в избе. Привычные к крестьянскому труду, они возились в земле, словно жуки в навозе. Когда уставали, не уходили домой, а, по-  
охав, потерев поясницы, садились возле сарая под навесом, в тенёчке, и молча набирались сил для следующего захода.

Сейчас, в непроглядную жару, Фатей всё чаще и чаще вспоминал ушедших в мир иной Аверьяна и Прасковью, и какими-то призрачными – словно это было во сне – ему представлялись былые поездки в деревню после хорошего летнего дождя...

Через пахнущий опилками двор он выходил в залитый ласковым солнцем сад-огород. Словно лёгким пушистым перышком, лучи гладили его загорелое лицо. Отдаваясь небесной ласке, он то и дело закрывал глаза. Радостно разливались певчие птицы, и было слышно, как на ближних грядках, где-то в двух шагах, с шорохом оседающего парного молока впитывалась в землю дождевая влага.

Всё выглядело на редкость чистым, промытым: и деревья, и кусты, и огородная зелень. Даже привычные птицы становились другими: в оперенье серых, недавно казавшихся запылёнными, воробьишек проглядывала цветастая пестринка, а скворец с извивающимся лиловым червяком в клюве приятно лоснился и не казался, как прежде, угольно-чёрным.

И бочка, и ванна были наполнены всклень. Лужа возле бочки говорила о том, что дождь выдался на славу.

Тише, чем обычно, скрипел за огородом коростель: наконец-то смазали колёса невидимой телеги деготком, а может, и солидолом. А зануда-перепел не уставал напоминать:

– Подь-полоть! Подь-полоть!

Ну, конечно же, после такого дождя самое время полоть. Хорошо что напомнил! А вот Аверьяну и Прасковье подсказывать не надо: они уже выдёргивают сорную траву из мягкой, податливой земли.

Фатей, то ли щурясь от солнца, то ли непрестанно улыбаясь, подходил к соседскому забору.

Аверьян и Прасковья отрывались от своих взъерошенных грядок, улыбались – после недавнего дождя их глаза делались ещё голубее, – и распевно, словно желая продлить звучание приветных слов, отвечали в один голос:

– Здра-асьти-и! До-оброго здо-оровьи-ичка...

Аверьян, видимо, в знак особого уважения, подносил руку к напяленной на голову белой панамке. Он словно собирался снять головной убор, но в последний момент, спохватившись, опускал вымазанную руку.

Жить в соседах – быть в беседах.

– Ну как дождик? – спрашивал Фатей. – Хороший?

Знал, что хороший, но как не спросить?

– Дождик-то? – откликалась Прасковья, вытирая руки о замызганный фартук. – Грех жаловаться... Этот дожжик два дня тужился, на третий разродился. Вышла я вечером, а он шьёт себе и шьёт...

– Поди, на полтора штыка землю промочил! – подхватывал Аверьян. – Я так и знал: должон пойти. Уж больно ласточки низко летали. А Параша всё сумлевалась...

– Это я сумлевалась? Чего, старый, мелешь? Ты мне про своих ласточек баил, а я тебе про поезда. Уж так кричали они, так кричали...

«Поезда? – удивлялся про себя Фатей. – К дождю?..» О такой примете он и слыхом не слыхивал. Слово «крик» связывалось с живым существом, а тут поезда. Но, поразмыслив, Фатей догадался, в чем дело: воздух, насыщенный парами, усиливал дальние звуки.

– Теперь грибки пойдут! – радовался Фатей.

Но Аверьян не спешил соглашаться:

– Какие пойдут, а какие и не пойдут. Пойдут те, что поглупее. Навроде маслят. Ну а коренной, степенный, грыб, глядишь, призадумается: вылезать ему или нет?

Фатей улыбался:

– Кто же его так напугал?

– А как не напугаться! – Аверьян выглядел серьёзным, даже опечаленным. – Грибники теперь цепью по лесу бродят. Даже собак с собой прихватывают. Иногда думаю: «А что бы я делал на месте грыба?» Наверно, зарылся бы в дернину и сидел тихонько, как партизан.

– Мы и так партизаны! – встревала Прасковья, продолжал оглаживать руки о фартук. – Уж так в землю забились – глубже некуда. Скорей бы Господь прибрал, пока совсем не зачервивели.

– Приберёт! – спокойно говорил Аверьян. – Недолго ждать осталось!

Прасковья согласно кивала. Задумавшись, смотрела на Фатея, обнимающего забор, и вдруг спохватывалась:

– Погодь, Иваныч! Погодь! Я тебе гостинчика принесу.

Шаткой старческой походкой уходила в избу и вскоре приносила миску с удивительно белыми, с прилипшим пушком и пятнышками навоза, куриными яйцами.

– Ешьте-кушьте на доброе здоровье. Только что из-под несушки.

Фатея не смущали ни пух, ни жёлтая налипь – наоборот, они вызывали у него ощущение естественной и здоровой пищи,

– Спасибо! Спасибо! – Он протягивал руки из-за ограды. Фатею нравилось, когда они вот так, не заходя в избы, по-простому, через забор, обменивались гостинцами – в такие минуты казалось, что никакой ограды между соседями не существует, и от ощущения близкого, почти родственного, единения становилось легко и радостно на душе. Беспокоило одно: нередко, протягивая гостинчик, Прасковья оглядывалась и, понизив голос, предупреждала:

– Вы только Лёнечке ничего не говорите. Лёнечка заругает...

Однорукий Лёня, племянник Прасковьи, жил в городе. Похоронив жену и выдав замуж единственную дочь, Лёня, не мешкая, сдал своё жильё квартирантам, а сам пристроился в качестве опекуна к знакомой бабушке –   
как говорили в Берёзовке, помогал старушке проедать трудовую пенсию. Как только сходил снег, Лёня перебирался в деревню, к своей матери – она коротала вдовий век неподалёку от одиноких стариков Рожновых.

– Только Лёнечке не говорите! – повторяла Прасковья, и в её тихом голосе слышалась материнская нежность.

Лёня! Лёнчик – так называли его в деревне. Он представлялся Фатею довольно молодым, не лишённым мужского обаяния, человеком, но каково же было изумление Фатея, когда он впервые увидел племянника Прасковьи.

Куда девалась магия имени, рисующая в воображении Фатея человека со светлыми, как лён, волосами и по-есенински синими глазами! –   
на огороде Рожновых, возвышаясь над Аверьяном, стоял бородатый мужик в рваной, словно располосованной после пьяной драки, рубахе навыпуск. Он казался диким существом времён царя Гороха. Впрочем, впечатлению сермяжности мешала загнутая по-ковбойски соломенная шляпа и крапчатые, в обтяжку, брюки, приобретённые, скорее всего, в магазине бросового зарубежного тряпья.

– А-а, сосед! – писклявым, не вяжущимся с фигурой и ростом, голосом заговорил Ленчик. – Здорово! – И, боднув головой воздух, поинтересовался: – Какие виды на урожай?

– Время покажет! – ответил Фатей.

– Верно! – похвалил Ленчик. – Не говори «гоп», пока не перепрыгнул. Поживём – увидим!

Лёнчик успевал обрабатывать огород матери и помогать старикам Рожновым: распахивал весенний огород фыркающим, словно норовистая лошадь, мотоблоком, обкашивал луговину электрокосилкой, сажал, поливал, окучивал и, конечно, с особым рвением собирал урожай, не забывая о своей доле.

Фатею порой казалось, что неутомимый в своих трудах Лёнчик не только раздваивается, а как бы растраивается: пока один Лёнчик гнул крутую спину возле овощных грядок, другой, как две капли похожий на него, отпиливал сухие яблоневые ветки, ну а третий, не обращая внимания на своих двойников, тащил, роняя, белые поленья к бане, чтобы затопить её под вечер.

Говорил Лёнчик – будто ворковал, бегал – словно ястребком парил.

– Зачем тебе столько лука? – донимал он Аверьяна, планирующего посадки. – Посадил бы побольше чеснока. Он в цене.

Аверьян отмахивался от наступающего ему на пятки помощника, как от надоедливой мухи.

– Надо раннюю картошку сажать! – учил Лёнчик. – Она тоже в цене.

– Распаши за огородом и сажай! – говорил Аверьян. – А мне и этого хватит... – И задумчиво, глядя в сторону, добавлял: – Больше, чем съешь, не проглотишь!

Недовольно попыхтев, Лёнчик снова лез с предложениями и советами – уж очень он напоминал свой мотоблок с многочисленными хитроумными присадками: пока не закончится бензин, не остановится.

– Может, за огородом хрен посадим, а? – продолжал Лёнчик. – Можно в Москву отвезти. Знаешь, сколько баночка хрена стоит?

– Не знаю и знать не хочу! – сердился Аверьян. – Хочешь за огородом сажать – сажай на здоровье! Хоть хрен, хоть редьку. Можешь и свой хрен посадить. Какие-нибудь бабы по дурости расхватают!

Лёнчик хохотал, переламываясь в пояснице:

– Ну и сказанул!

Слабея год от года, с трудом справлялись со своим огородом старики Рожновы, и всё настырнее и смелее становился опекающий их Лёнчик. Он по своему усмотрению распоряжался урожаем, но и этого ему было мало. Потихоньку-полегоньку, где шажком, а где скачком, подбирался Лёнчик к чужим деньгам: «Ну какой дурак держит деньги в чулке? Обворуют, а то и по горлу полоснут! Хотите, положу в сберкассу, под хорошие проценты?» Поглядывая на отливающие серебром и позолотой иконы в красном углу, говорил: «Ну кто столько икон в избе держит? Обворуют лихие люди, и глазом не моргнут! Оставили бы одну, которая потемнее, а остальные я бы в город отвёз. Есть у меня надёжное место...»

Долбил Лёнчик, как длинноклювый дятел, в одно и то же место, и поддавалась ему мягкосердечная Прасковья. И даже Аверьян, старый окопный солдат, наругавшись с Ленчиком до жуткого сердцебиения, сдавал позиции.

Лёнчик завладел отложенными впрок «смертными» деньгами, стал получать по доверенности чужие пенсии. Он рассчитывал рожновские траты до копейки.

Особенно не давал ему покоя электрический счётчик. Лёнчику казалось, что у Рожновых нагорает гораздо больше, чем у соседей. Он ломал голову: может, счётчик неисправный? Но покупать новый – тратить деньги – Лёнчику не хотелось, и он, почесав затылок, ввернул везде лампы слабого накала.

Аверьян негодовал:

– Живём во мраке! Газету вечером не прочитаешь! Что, мне с газетой днём, на солнышко, выходить?

– Зачем выходить? Лучше вообще не выписывать! – ухмылялся Лёнчик. – Читать – только глаза портить!

Прасковья уже не подходила к забору с куриными яичками. Фатею начало казаться, что и куры Рожновых, в угоду Лёнчику, квохтать перестали. Сидят себе тихо – словно не несутся. Ну а если не несутся, то, следовательно, Фатею и Аннушке на гостинцы и рассчитывать не стоит.

Прасковья теперь не столько руки о фартук вытирала, сколько горючие слёзы. Подойдёт к забору, пугливо оглянется – нет ли Лёнчика? – и тихо пожалуется Фатею через забор:

– Лёня-то наш совсем сдурел. Говорит: телевизор много ест. Мы уже боимся лишний раз включить. Только последние известия слушаем. А вчера пристал, как с ножом к горлу: «Пишите на меня завещание!» И чего он боится? Помрём – всё ему достанется!

Облегчив душу, Прасковья напоминала:

– Только Лёнечке не говорите, что я жалюсь! А то совсем с белого света сживёт...

Однажды Фатей заметил на огороде Рожновых, возле сарая ржавое, со следами голубой краски, надгробье.

Из дома на огород вышла Прасковья с помойным ведром. Фатей поздоровался и торопливо спросил:

– Как Аверьян Петрович?

– Скрипит, – ответила Прасковья. – Сердечные таблетки глотает! – и, оглянувшись, пожаловалась: – Лекарства нынче в цене.

Он смотрел на неё в упор, выжидающе, и она, догадавшись, что его волнует, опустила ведро на дорожку и подошла к забору. Положила руки с набухшими венами на верхнюю жердину и потянулась к уху Фатея. Он едва слышал, что она говорит.

– Лёнечка... с кладбища... старый памятник припёр. Видать, нас на тот свет торопит...

Фатей покачал головой. Увидев вскоре озабоченного Лёнчика, поинтересовался:

– У вас умер, что ли, кто?

Лёнчик поправил сползающую с головы ковбойскую шляпу и, приосанившись, изрёк:

– Как говорится, готовь сани летом!

– Да ты мудрец! – усмехнулся Фатей.

Лёнчик всё чаще намекал на слабость Аверьяна Петровича, сокрушался, что лекарства пошли не те: не лечат, а калечат – поэтому нет особого смысла их покупать.

Вскоре, после появления памятника, Аверьян Петрович скончался. К радости Лёнчика, старик ушёл из жизни легко: лёг спать и не проснулся.

Прасковья даже обиделась:

– Что же ты, старый, со мной не попрощался?

Лёнчик успокоил:

– Ничего... На том свете наговоритесь!

После смерти мужа Прасковья совсем сникла. Как-то, осенью, спускалась по скользким ступеням во двор, упала и повредила шейку бедра. Лёнчик отправил беспомощную тётку в больницу, а когда она стала немного передвигаться, опираясь на оставленную ей в наследство клюшку Аверьяна, быстренько спровадил в дом престарелых.

Лёнчика осуждали. А он, как ни в чём не бывало, тёр у себя под носом и старался каждому доказать свою правоту:

– Ты только подумай, Иваныч! Ну как я смогу ухаживать за ней с одной рукой? А в доме престарелых тепло, светло и мухи не кусают. Будет с кем поговорить...

К этому времени желанное завещание лежало у Лёнчика в кармане.

Вот так лишились Агафоновы добрых соседей, а через год беда пришла и с другой стороны: заболела неизлечимой болезнью и стала таять, словно свеча, соседка Рая.

За день до кончины, почувствовав неизбежное, Рая сунула ноги в боты, набросила на худые плечи мужской костюм с подвёрнутыми до локтей рукавами и, пошатываясь, отправилась на свою молочную ферму. Миновала обкошенный проулок, обогнула огород Макара Дельнова с провисшими пряслами и, глядя себе под ноги, – словно считая шаги, –   
направилась к водонапорной башне.

Её постоянная сменщица мыла бидоны. Увидев Раю, похожую на тень, с задумчиво-отрешённым лицом, Зинаида от волнения даже не сказала «здравствуй», а только поспешно кивнула головой и застыла с мокрой мочалкой возле яслей. Раиса медленно шла по дощатому, уже не прогибающемуся под ней настилу, касаясь рукой тёплых лбов потянувшихся к ней коров. Пахло навозом, сосновыми опилками, парным молоком. Она жадно втягивала в себя привычные запахи. Для неё, по-русски неприхотливой, изневолившей себя в нелёгкой работе и полюбившей этот труд, запахи родной фермы были теперь приятнее ароматов июньских лугов. Глаза, готовые затянуться туманной поволокой, прояснились. Рая дышала глубоко и свободно.

Она подошла к Нежданке, самой смирной, самой любимой корове-холмогорке. Ласково погладила её широкий, с белой звёздочкой, лоб. С ноздревато-тёмных губ Нежданки рвущейся паутиной стекала слюнка. Заботливым движением – так вытирают губы малого ребёнка – Рая убрала слюну. Вытерла руку об изглоданную жердь изгороди.

Она собралась уходить. Нежданка печально и понимающе смотрела на доярку тёмными, с лиловатым отливом, большими глазами, а когда Рая, не выдержав взгляда, отвернулась, Нежданка порывисто потянулась к ней и утробно замычала. У Раи задрожали губы. Не отдавая себе отчёта, она перекрестила бурёнку и, смежив глаза, – уже ни на что не хотелось смотреть, лишний раз бередить душу – усталым шагом двинулась к выходу, освещенному заходящим солнцем.

– До свиданья! – выдавила Зинаида.

– Прощай! – ответила Рая.

Она вернулась в избу.

– Где бродишь? – удивлённо спросил муж Александр.

– Так... По делам... – ответила Рая.

Она попросила мужа протопить баню. Не спеша помылась из тазика в предбаннике – зайти в душную парную так и не решилась. С удивлением смотрела на свои тонкие руки, на исхудавшее до рёбер тело – казалось, всё это принадлежало не ей, а какой-то другой женщине.

Держась за мужа, чистая, умиротворённая, прошла своим ухоженным огородом в избу, легла в постель. Постель показалась ей холодной –   
а ведь было в разгаре лето.

Попросила Александра:

– Шура, подойди ко мне!

Он подошёл.

– Слушай, что скажу... Ты не обижайся! Завтра меня не будет...

– Что ты выдумала! – встрепенулся Александр.

– Я знаю, что говорю. А ты слушай... Перестань выпивать! Бывало, месяцами держался. Вот и теперь держись! Ради наших детей, ради внуков.

– Ладно! – нахмурившись, проговорил Александр.

– Да ты не ладься! – тихо сказала Рая. – Твоё «ладно» я сто раз слышала. Нельзя тебе, Шура, выпивать. Начнёшь выпивать – не остановишься. Всё, милый! Дошла гирька до пола. Дальше некуда...

– Я что, не понимаю? – заволновался Александр. – Сказал «завяжу» –   
значит, завяжу.

– Да ты не только мне говори! – грустно сказала Рая, складывая руки крестом. – Ты Господу Богу пообещай. Подойди к иконе и скажи своё слово.

Александр удивлённо глянул на Раю: ишь, чего выдумала! Была бы она здоровой, наверняка отказался бы, а может, рассердившись, послал бы куда подальше.

– Пообещай! – повторила Рая и закрыла глаза.

Александр потоптался на месте, покряхтел, словно старик от непосильной ноши. Его душа бурлила. Не хотелось слушаться, но как откажешь умирающему человеку?

Он глубоко вздохнул и подневольным шмыгающим шагом приблизился к иконе в красном углу.

Ещё никогда в жизни Александр так пристально, так испытующе не вглядывался в лик Спасителя, обрамлённый тяжёлым окладом. Икона, которой молились предки, всегда ему казалась обыкновенной принадлежностью избы, такой, как русская печка, на которой он не раз отогревал кости, как сосновая матица с железным кольцом для детской зыбки...

Он никогда не молился, но и не мешал молиться набожной Раисе. Икона не вызывала у него отторжения, но и не привлекала,

И вот сейчас ему нужно было что-то сказать Спасителю, может быть, даже оправдаться, как однажды он оправдывался за свою пьянку на месткоме.

Александр сделал глуповато-вызывающий вид, но, подумав, посерьёзнел.

– Прости меня, Господи! – негромко, стесняясь собственных слов, заговорил он. – Покуролесил, и хватит! Да, хватит. ..

Он помолчал, ощущая незавершённость своего стояния перед иконой. И тут в его памяти всплыл обрывок молитвы покойной бабушки Васёны.

– Не введи меня, Отче, во искушение, но избавь от лукавого. Аминь!

Он сказал «аминь», и сразу стало легче на душе. На его глазах выступили слёзы.

– Спасибо! – поблагодарила Рая.

Она помолчала, вслушиваясь в глубокую тишину, а потом тихо попросила:

– Не забудь поросёнку болтушки дать. С отрубями...

Раю похоронили на тесном деревенском кладбище, недалеко от могилы дедушки Аверьяна. Было ей сорок восемь лет от роду. Когда свежая могила просела, устоялась, Александр поставил жене гранитный памятник и посадил рядом с оградкой сладкую невежинскую рябину –   
принёс по осени отросток из своего сада.

Как и было обещано, Александр, выпив поминальную рюмку, больше не притронулся к лихому зелью. Чтобы забыться, не щадя себя, набросился на огородную работу. Частенько, не раздеваясь, только стянув с себя пропылённую обувь, валился, как куль, в холостяцкую нестираную постель. Однако и трезвенника не обошла беда: Александр перетрудился и получил инсульт. Больно было смотреть на него после больницы: левая рука висела, как плеть, а левая нога беспомощно чертила по земле.

И стало теперь у Фатея два одноруких соседа: один – из-за болезни, ну а другой – по своей неосторожности; ещё в молодости Лёнчик, торопясь закончить сдельную работу, отмахнул себе левую руку болгаркой.

Александр помыкался года два и решил перебраться к дочери во Владимир. Избу не продал. Наверное, надеялся, что болезнь отпустит, и он вернётся в свою родную Берёзовку. Не получилось...

И одичала, позаросла дурман-травой когда-то ухоженная усадьба Авдеевых. Сытые дрозды безбоязненно садились на одинокую невежинскую рябину, квохтали, обирая жёлтые гроздья. Спелые ягоды скатывались по багряным листьям, по гладкому ровному стволу – они были так похожи на бусы дешёвого ожерелья, которое Рая любила надевать на Троицу.

Падали ягоды в прихваченную морозцем жёсткую траву, чтобы, поблёкнув, извянув до черноты, покрыться белым безрадостным саваном.

Иногда поздним летним вечером, почти ночью, приходил Фатей к колодцу, чтобы набрать воды для питья. Он возвращался посеребрённой, лунной дорожкой и всегда смотрел на окна соседей. Мертвенным блеском – будто стоялая вода в лесной баклуше – отливали стёкла Авдеевых, а в другой, жилой, избе горел слабенький, словно от свечи, жёлтый свет, сменяясь на голубоватый, – это означало, что Ленчик, выключив дешёвую лампочку, начинал смотреть телевизор.

Лёнчика распирали хозяйственные планы. Что делать дальше? За что приняться? То ли строить гараж под новенькую «Ниву», то ли возводить просторный парник с металлическим каркасом, а может, продлить забор до самого луга, застолбив дополнительные сотки?..

В своём глубоком раздумье Лёнчик напоминал захмелевшего мужика, стоявшего враскорячку на склизкой, в осенних лужах, полевой дороге – куда же ступить?

И наконец Ленчик сделал выбор: нужно копать колодец на огороде, остальное подождёт...

Когда-то, в стародавние времена, на день Фёдора Стратилата ходили по русским деревням колодезных дел мастера со своим нехитрым снаряжением: топор да лопата, острая пила да пеньковый канат, свернувшийся, словно пастуший кнут, на шее бородатого копателя.

Словно бесценный купальский клад, отыскивали колодезники водяную жилу, и к этой жиле вёл не огненно-красный цветок колдовского папоротника, а высокая зелёная трава, на которую обильно ложились росы. На близость земных вод могли указывать первый пар на зорьке и даже мошкара, «толкущая мак».

Но встречались колодезники, как говорится, милостью Божьей. И таким, как рассказывали деревенские, был дед Макара Дельнова – Еремей. Стянув посконную рубаху, он ложился голой спиной на облюбованное место и терпеливо ждал, как отзовётся земля. Потом вставал, выразительно махал рукой – пустое место! – или же, зябко передёрнув плечами, говорил: «Жила здесь!»

И никогда не ошибался Еремей-колодезник.

Лёнчик запасся железобетонными кольцами, брёвнами, щебёнкой, одолжил у знакомого рыболовный костюм... Нужно было выбирать место для копки. Огород – не лужайка: по высокому луку, перегнавшему в росте морковь, не узнаешь о близких жилах.

Лёнчик долго бродил по огорода, но так и ничего не выходил. Кто-то из деревенских, то ли по неведению, а может, шутки ради, посоветовал Лёнчику обратиться к Жучку, работавшему в водоканале.

Довольно помятый, но пахнущий цветочным одеколоном, Жучок вежливо постучал в оконный переплёт: Лёня, я тут, к вашим услугам! В руках Жучка была скрученная медная проволока.

– Показывай объект! – солидно сказал Жучок.

Обрадованный Лёнчик повёл водного специалиста на огород.

Стараясь держаться прямо, с достоинством, Жучок прогулялся вдоль овощных грядок и, чуть не упав, присел на корточках возле огурцов. Прицеливаясь то правым, то левым глазом, он обнаружил в густой вьющейся зелени несколько пупырчатых корнишонов. Изящно, двумя пальцами, извлёк один из них.

– Хорош свежачок! – сказал Жучок и, улыбнувшись, добавил: – А малосольные, пожалуй, лучше.

Он схрупал огурец, медленно встал и зачем-то подул на медные усики: может, удалял с них пыль, кто знает! Пальцы водного специалиста заметно дрожали, и в такт им покачивались концы проволоки.

– Наверно, не получится! – пожаловался Жучок. – Надо, тип того, хотя бы соточку. Для успокоения души и снятия вибрации!

Лёнчик поморщился, но соточку принёс. Жучок высоко, как пьющая курочка, запрокинул голову и весело крякнул.

– Хороша злодейка! – сказал он и восхищённо повел головой. – И кто её выдумал? Кто изобрёл? Говорят, Менделеев. Умнейший человек!

Лёнчик напряжённо наблюдал за телодвижениями Жучка.

– Так, так... – проговорил специалист и выставил перед собой пальцы. – Играют, подлецы. Жаль, что не стал баянистом. Пожалуй, и соточка не помогла. Не та дозировка... – Он вопросительно посмотрел на Лёнчика.

Однорукий понимающе хмыкнул и отвернулся: хватит с тебя, дорогой, и одной рюмки!

Жучок погрустнел:

– Конечно, можно работать и в этом состоянии. Но за точность не ручаюсь! Возможны, тип того, погрешности.

Специалист с таинственным видом побродил возле вишенника, а затем склонился над навозной кучей. Движения его были осторожными, вкрадчивыми – казалось, Жучок, рискуя жизнью, работает с миноискателем.

Проволока ничего не показывала.

Жучок остановился, потрогал бесстрастные усы и разразился негодованием:

– Ну и медь! Разве это медь? Никакого качества.

– Что же делать? – спросил Лёнчик.

– Что делать? Что делать? – передразнил Жучок, деловито оглядываясь по сторонам. – Сейчас бы, тип того, лоза пригодилась! У тебя, случаем, винограда нет?

Винограда, как и предполагал Жучок, на огороде не оказалось.

– Ну вот! – грустно подвёл итоги специалист. – Мероприятие придётся отложить. Эту дрянную проволоку мне один телефонист подсунул. Пожалуй, надо теперь с кабельщиками переговорить... – Стараясь соблюдать достоинство, Жучок, неестественно прямой и пахнущий цветочным одеколоном, неторопливо покинул сад-огород...

После его ухода Лёнчик три дня скрёб лысеющий затылок: что же делать? к кому обратиться?

Староста Василиса, пожалев бедолагу, посоветовала:

– Сходи к дяде Макару!

Макар Дельнов был краток:

– Разбросай сковородки!

– Зачем? – Ленчик выкатил на Макара совиные глаза. Ему показалось, что старик разыгрывает...

Усмехаясь в усы, Макар объяснил, в чём дело.

Как только завечерело, Ленчик разбросал на огороде чугунные сковородки. Поутру проверил. Первая сковородка оказалась   
сухой, на второй поблёскивало несколько капель, ну а третья влажно лоснилась – казалось, на ней блины пекли, словно на широкую Масленицу.

С жилой стало ясно. Прежде чем найти копальщиков, Ленчик долго выяснял, сколько будет стоить метр копки.

И вот однажды на огороде Ленчика появились два деловитых с виду и трезвых как стёклышко мужика в высоких болотных сапогах: Серёга-Агдам и его закадычный друг Вася Колобок.

Друзья когда-то «раскурили по букварю» в начальной Березовской школе, с горем пополам окончили десятилетку в соседнем селе, а потом с песнями, под гармонику, отправились в армию. Служили вместе, на погранзаставе. После армии их пути-дороги разошлись. Колобок нашёл непыльную работу в районном городе, а Агдам, окончив школу механизаторов, стал передовиком-трактористом.

Когда пустили под откос местный колхоз «Большевик» и выделили крестьянам паи, Агдам прихватил себе колёсный трактор и оказался на «вольных хлебах»: пахал чужие огороды, возил на прицепе навоз и дрова... Потом возникли проблемы с запчастями, и трактор-кормилец превратился в хлам.

Однако Агдам, живучий, как трава-подорожник, не опустил руки. Только пониже – словно собираясь кого-то боднуть – опустил свою чубатую голову, и вместе с дешёвой «Примой» к его сухим обветренным губам приклеилась, прижилась, казалось бы, забытая пословица: «Были бы кости, а уж мясом когда-нибудь обрастём».

И хотя отлучили Агдама от широкого колхозного поля, по-прежнему оставался в его пользовании родной лес с грибами и ягодами. Первые грибы-колосовики и луговая земляника всегда доставались Агдаму. Нужда заставляла торговать, но Агдам, как многие русские мужики, стыдился выезжать на рынок. Пониже надвинув фуражку, чтобы его не узнали, он торопливо, не торгуясь, опорожнял корзину с отборными боровиками и, прихватив с собой пару бутылок ходового портвейна «Агдам», возвращался в Берёзовку.

Когда от него ушла – уехала в город, к родителям – жена, Агдам довольно быстро сошёлся с Верой-Верунькой, молодой разведёнкой, такой же любительницей грибной охоты, как и он. Торговать стало проще: за прилавком стояла Вера, а Сергей спокойно покуривал в сторонке. Иногда с белыми грибами и лисичками приходилось ездить в Москву. Сергей не любил шумную столицу и презирал изнеженных – так ему казалось – москвичей. Ради озорства он как-то привёз в Москву с десяток грибов-трутовиков, растущих на гиблых берёзах, и без зазрения совести выдал их за целебный гриб чагу. Продавал сам, нахваливая и едва сдерживая смех. Что удивительно, «лошадиные копытца» разошлись довольно быстро. Верунька, торговавшая неподалёку, чуть не сгорела от стыда. А Агдам только посмеивался: «Ничего... От трутовика не умрут, а может быть, и поумнеют!»

Агдам и Верунька, как могли, барахтались в навязанной им жизни. Денег частенько не хватало. И когда Лёнчик предложил рыть колодец, Агдам без особых раздумий согласился: «Копать так копать! Не боги горшки обжигают...» За свою жизнь Агдам выкопал два погреба. За его же дружком не числилось и вырытой канавы. Колобок, как бывало не раз, решил полностью положиться на разбитного   
Агдама.

Добра молодца узнаешь по походке, бывалого мастера – по зачину. Прежде чем помчаться, надо раскачаться...

Перекурив раз и два, Агдам с Колобком проверили лопаты на остроту и прочность.

– Вроде ничего... – сказал Агдам.

Колобок кивнул: тебе виднее!

С таким же подчёркнутым старанием мастера стали определять диаметр бетонных колец. Агдама не устроил мягкий метр со стёршимися цифрами.

– Принеси твёрдый! – скомандовал Сергей.

Лёнчик покорно отправился в сарай. За ним, словно привязанный, потащился рыжий домашний кот...

Агдам стёр пыль с длинной линейки, приложил её к правому глазу – будто прицеливался, как прошлой осенью, в пёстрого, ещё не вылинявшего, зайца-русака, неторопливо произвёл замер и значительно сказал напарнику:

– Запомни!

– Какой вопрос! – бодро отозвался Колобок.

Мастера, помогая друг другу, измерили лестницу, проверили дубовые столбы – Колобок для верности даже колупнул прокуренным пальцем по срезам: ничего, нормальные, не гнилые!

Деловито, с видимым знанием дела, мастера переговаривались между собой. Лёнчик, затаив дыхание, внимательно прислушивался к их не очень понятной и временами таинственной речи.

– Стык стыку рознь...

– Грунт покажет...

– Может, придётся надставить...

– Как бы не поплыло! Всяко бывает...

Прежде чем основательно взяться за лопаты, мастера смачно поплевали на сухие ладони.

– С богом! – сказал Агдам.

Колобок убрал колышек-метку со средины очерченного круга.

Агдам, усмехнувшись, покосился на Лёнчика:

– Не знаю, хватит ли колец?

У Лёнчика чуть шляпа-американка с головы не свалилась:

– Да что ты? Что ты? Неужто ещё покупать?

Колобок решил подыграть другу:

– Не выйдет колодец – получится погреб. Хороший. Глубокий.

– На хрена мне второй погреб! – возмутился Лёнчик. – Копайте!

Колобок по-молодецки расправил плечи и весело пропел начало солёной частушки:

Две недели не копал!

Где моя копалка?..

Друзья, не щадя себя, трудились несколько дней. Сняли плодородный, гумусный, слой, перешли на пёструю супесь, докопались до чистого, с влажнинкой, песка, а потом пошла красная липучая глина...

Поёживаясь от пробирающего до костей холода, Агдам не просто взбирался по лестнице, а буквально взлетал, как петух на насест, и, клацая зубами, брался за ворот. Сменивший его Колобок едва успевал подавать из ямы переполненные вёдра.

– Эй, командир! – донимал Агдам Лёнчика. – Налил бы по лампадке!

– Перебьётесь! – отвечал Однорукий. – Пока не выкопали, на солнышке отогревайтесь!

Агдам не узнавал самого себя. Признаться, взялся за дело без особой охоты – стоило ли стараться для такого ханыги! – да и сомнения точили душу: а сумею ли? не опозорюсь? Но вскоре работа пошла, покатилась как по маслу. Сергей удивлялся и не понимал, в чем дело. Втянулся? Слишком простое объяснение. Казалось, рядом с ним, не испросив его согласия, появился из таинственного далека бывалый колодезник. Этот человек в выгоревшей посконной рубахе ничего не говорил ему, тем более не подталкивал по-учительски в спину. Он просто стоял рядом и внимательно, с какой-то непонятной грустью, поглядывал на Сергея. И Сергей, ощущая его заинтересованное присутствие, делал всё как надо. И то, что им удивительным образом понималось и почти бессознательно делалось, казалось даже не подсказкой мастера, а собственной догадкой, своим, наконец-то обнаруженным, глубинным знанием, которое, подобно заветной сотенке, хранилось до поры до времени в тёмном загашнике – так долго хранилось, что и забыл, когда припрятал – и вот теперь, когда припёрла нужда, всё неожиданно нашлось и пригодилось наилучшим образом.

Уверенность Агдама невольно передалась Колобку – тот даже потешно заголосил, перевирая старые частушки. И Ленчик, поняв, что ему всё-таки роют настоящий колодец, а не погреб, заметно повеселел и даже бросил преследующему его коту кусочек белой булки.

Агдам продолжал приглядываться к глине. В ней посверкивали не только капли – появились тянучие, как паутина, водяные жилки. И на глубине, где он, отбросив неудобную лопату, орудовал железным совком, пахло не только кисловатой глиной, но и зимним, пробивающимся сквозь невидимые оковы, родником. Большая жила – он это чувствовал всем нутром – была где-то рядом, и её не следовало тревожить. Нужно было, взнуздав азарт, вовремя прекратить копку и позволить глубинной воде медленно заполнить бетонную чашу. Но когда остановиться?

Старый колодезник куда-то исчез. Нужно было, не оглядываясь, решать самому. И Агдам не оплошал: ведь он, будучи трактористом, безошибочно выбирал плуг для вспашки, знал разные почвы, и теперь ему предстояло по-настоящему почувствовать пусть и далёкую, но родственную толщу земли.

И он догадался, когда нужно остановиться.

– Всё! Шабаш! – выдохнул Агдам. – Приехали!

Лёнчик недоверчиво хмыкнул: наверное, лень копать!

– Надо поглядеть! – сказал Лёнчик. Бетонные кольца оставались, и ему хотелось, чтобы колодец был глубже.

Ловко орудуя крючком рабочего протеза, Лёнчик напялил на себя рыболовный костюм, взял длинную верёвку и, ворочая головой, стал приделывать петлю возле шеи.

– Ты что, вешаться решил? – засмеялся Колобок. – Сначала расплатись, а поминки успеем справить!

– Хватит трепаться! – нахмурился Лёнчик. Он протянул петлю через голову и укрепил в подмышках, – Если что, тяните!

– Бутылку за дополнительные услуги! – похохатывал Колобок.

Хватаясь здоровой рукой за перекладины, Лёнчик исчез в глубине. Долго, проверяя, ощупывал стыки колец. Со стыками было всё в порядке: Агдам работал с отвесом. Лёнчику захотелось углубить дно. Но стоило ему копнуть, как тугая, бьющая, словно из брандспойта, струя отбросила лопату. Вокруг Лёнчика забурлило, запенилось, и он, скользя ногами, испуганно дёрнул верёвку.

– Спасайте! Тону!

Мастера, улыбаясь, без особой спешки извлекли бедолагу из колодца. Лёнчик смачно выругался, и, отряхиваясь, пустился в пляс.

– За спасение – премиальные! – ржал Колобок. – «Спасибо» нам ни к чему!

– У вас одно на уме! – оборонялся Лёнчик. – Вино да водка.

– Да ещё молодка! – уточнил Агдам. – Обижаешь, командир!

Вот так и вырос на огороде Лёнчика бетонный колодец, с крепкими столбами, лёгким послушным барабаном и пологой, как у скворечника, крышей.

Дело сделано – пора и рассчитаться. Лёнчик помрачнел, пнул рыжего кота, путающегося под ногами, и неохотно потянулся к нагрудному карману с пуговичкой. Долго терзал перламутровую пуговичку, высвобождая из прорамки. Пальцы Лёнчика в этот момент казались одеревенелыми.

Наконец он извлёк помятые бумажки, напомнил:

– Всё, как договаривались!..

Колобок тут же пересчитал деньги. А Сергей, не взглянув, сунул свою долю в карман.

Нет, не в натуре русских людей, завершив доброе дело, разбегаться в разные стороны с мятыми бумажками, зажатыми в потный кулак. Хочется перед уходом потрогать бетонное окружье, провести рукой по шероховатой, крытой рубероидом, крыше и, решившись, – пусть она еще не устоялась! – попробовать ключевой воды. И, конечно, посидеть на прощание за общим столом, потолковать о том о сём, наслаждаясь заслуженным отдыхом, и, разумеется, выпить за сработанное, как выпивают за рождение долгожданного сына-наследника.

Мастера, оглядев свой колодец придирчивым сторонним взглядом, умиротворённо присели на лавочку возле круглого, на одной ножке-столбце, стола. Колобок смахнул скрюченные прошлогодние листья с фанерного листа.

– Обожаю выпить на природе! – признался Агдам.

Было слышно, как в заброшенном саду Авдеевых выводит замысловатые рулады одинокий соловей.

Лёнчик ленивым кружным путём направился в избу и, помучив друзей ожиданием, вернулся с плетёной грибной корзиной.

– Чем богаты, тем и рады! – изрёк Однорукий.

В его корзине лежали поллитровка с четвертинкой, стопки, буханка хлеба, кусок варёной колбасы, две банки кильки в томатном соусе, соль в баночке из-под майонеза и похожий на тесак острый нож.

Пока Агдам, забыв обо всём, слушал соловья, а Колобок резал колбасу, Лёнчик успел принести пучок сочного лука-батуна.

– Думаю, не помешает! – сказал Лёнчик.

– Ещё бы!.. – согласился Колобок.

Дружно, в едином пионерском взмахе, Агдам и Колобок подняли стопки за успешное окончание работы. Лёнчик, помедлив, чокнулся с мастерами, тягуче, кривя лицо, выпил и торопливо отошёл – чуть ли не отбежал – в сторонку. Всем своим видом он показывал, что, в отличие от беззаботных друзей, не намерен бражничать.

– Дела! Дела! – объяснил Лёнчик.

Словно демонстрируя пример трудолюбия, Лёнчик принялся за работу. Тут же принёс из сарая моток проволоки, колышки и, низко склонившись, стал опутывать ягодник.

Клубнику Лёнчика одолевали большие птицы. Даже пугало, очень напоминающее самого Лёнчика, не останавливало ни ворон, ни галок. Вот и решил обворованный не единожды хозяин испытать новое средство: а вдруг не сунутся птицы, опасаясь запутаться в сетях?

– Ты ещё красные флажки повесь! – подсказал Колобок.

– Зачем флажки? – усмехнулся Агдам. – Убей ворону и повесь на длинный шест. Остальных как ветром сдует!

Лёнчик слушал, но помалкивал: поди, разберись, то ли серьёзно говорят, то ли ему голову дурят..

Заскрипела дверца возле дома, и в охваченном солнцем проёме показалась со своей неразлучной клюшкой бабушка Акулина.

Лёнчик оглянулся на скрип и насупился. Надоели ему, словно горькая редька, деревенские экскурсанты: шляются почти каждый день, отвлекают мастеров от работы, к тому же могут и грядки ненароком потоптать...

Напрягая слезящиеся, в красных ободках, глаза, Акулина ощупывала своей клюкой дернистую дорожку. И тянулась лицом туда, где белело бетонное кольцо колодца.

Агдам ещё издали, не надеясь на ответ, поздоровался. И Вася Колобок приветно поднял переливающуюся через край зелёную стопку.

Акулина молча подошла к колодцу, погладила шершавый барабан и, словно отвечая не людям, а колодцу, произнесла ласково:

– Здра-асьте-е...

Она заглянула в ведёрко с водой и, не узнав в отражении своего лица, со вздохом опустилась на приступок. Опёрлась на клюшку изработанными, как будто вылепленными из прочной глубинной глины и перевитыми корневищами жил, руками и, словно примериваясь к безвозвратному уходу, устало закрыла отвыкающие от дневного света глаза.

Глядя на эти руки, не нужно было расспрашивать, чем она занималась и как жила. Жила, как жили многие женщины в крестьянстве: вставала на сенокос в четыре утра – была первой косильницей! – навивала стога, жала рожь, ухаживала за домашней птицей и скотиной, обшивала и обстирывала всю большую семью...

Акулина открыла глаза и, словно обращаясь не к Лёнчику, а к какому-то другому человеку, строго спросила:

– Колодец-то освятили?

– Как же, окропили! – усмехнулся Лёнчик и, взглянув на разомлевших дружков, уточнил: – Вспрыснули!

Акулина ничего не поняла:

– Слава богу! Это по-людски...

Подремав, бабушка с трудом поднялась, потёрла занемевшую поясницу и так же тихо, как и пришла, покинула огород.

Копателям разъело губу.

– Эй, командир! – крикнул Агдам. – Принёс бы красненького! На загладку...

– На посошок! На ход ноги! – поддержал Колобок и уронил русую голову в чашу расставленных рук.

Лёнчик нехотя подошёл, посмотрел на пустые бутылки и разразился негодованием:

– Сколько можно пить? Пьёте и пьёте. Всю матушку-Россию пропили!..

– Россию? – удивился Агдам. – Это я Россию пропил? Да сколько же я должен выглохнуть, чтобы её, матушку, пропить? Цистерну? А может, океан? Нет, Лёня, ты не с того бока зашёл! Россию не пропили, а продали. И не по пьянке, а по трезвянке. А теперь в московской канцелярии две дамы делами заправляют: Сулиха да Проманиха! Такие красавы – глаз не отведёшь...

Агдам завершил тираду и миролюбиво напомнил:

– А на каменку всё же надо плеснуть. Понял?

– Понял, чем старик старуху донял! – окрысился Лёнчик.

– Та-ак! – грозно произнёс Агдам. Желваки заиграли на его острых скулах. – Значит, человеческого языка не понимаешь? Заклинило слух? –   
Агдам нагнулся и схватил за шиворот рыжего кота. Решительно встал к, прижимая кота к груди, зашагал к колодцу.

Лёнчик заволновался.

– Та-ак! – делая свирепое лицо, сказал Агдам и поднял кота над головой – тот висел врастяжку, словно тряпка. – Арифметику, надеюсь, помнишь. Считаю ровно до трёх. Скажу «три», и Васька окажется в колодце!

Вася Колобок вздрогнул и разлепил глаза:

– Серёг, ты что? Меня? В колодец?

Агдам улыбнулся:

– Вася, спи спокойно! Я друганами не разбрасываюсь!

Но Колобку стало не до сна.

– Всё, Лёня! – продолжал Агдам. – Счёт пошёл. И не надейся на китайские предупреждения! Я человек слова: я его дал, я его взял... – Агдам тряхнул кота. – Рр-раз!

– Да бросай! – воскликнул Лёнчик. – Топи! Зачем он мне нужен? Мышей не ловит, а жрёт в три горла!

– Ну что ты несёшь, Лёня? – Агдам покачал головой. – Неужто живой души не жалко?

– А тебе не жалко? – огрызнулся Лёнчик.

– Мне жалко, но ты вынуждаешь! Дд-ва-а...

Лёнчик задумался.

Агдам крыл Лёнчика, не жалея козырей:

– Шевелись, пока не поздно! А то Васька будет ночами сниться! Покоя не даст... Хочешь, чтобы колодец протух?

– Ладно! – сдался Лёнчик, – Принесу!

– То-то! – сказал Агдам и отпустил кота.

Лёнчик, почёсывая затылок, поглядел на опустошённый, с хлебными корками, стол:

– Может, сырку принести? Правда, он твёрдый, давно лежит...

– Неси! Неси! – поощрил Агдам. – Зубы есть – пилы не надо. Как-нибудь справимся.

– Неплохо бы сальца! – сказал Колобок, поглаживая живот. – Чтобы хлеб доесть. Да и колбаса к лучку не помешала бы...

Лёнчик хмыкнул: нашли дурака! И, оглядываясь, побрёл к дому. По дороге подвязал помидоры, поправил рогатые подпорки под яблонями, а в завершение сорвал лопух и стал отгонять белых бабочек с завязавшейся капусты...

– Через час вернётся! – сказал Колобок.

– Что ты, что ты... – возразил Агдам, – К первым петухам!

– Ничего! Мимо рта не пронесём!

До петухов дело не дошло. В избе Лёнчик не задержался и вскоре, потирая лоб – ударился о дверную притолоку, – явился с запылённой,   
в паутине, бутылкой «Агдама» и с бесформенным куском сыра, похожим на садовый вар.

– Покорно благодарю! – уважительно сказал Агдам. – Влистил, командир. Моё, фирменное.

Открыли тёмную бутылку. Колобок, налегая всем телом, разрезал, а лучше сказать, раскрошил оставшийся от поминок сыр.

– За что пьём? – поинтересовался Вася.

– За хозяина! – улыбнулся Агдам. – Слышь, Лёня! Пьём за твоё здоровье!

«Не обманешь! – подумал Лёнчик. – Больше не принесу...» Друзья неспешно, за разговорами, опорожнили бутылку. Агдама повело на песни: уж так захотелось, не думая о плохом, покачиваясь на хмельных волнах, вспомнить душевные слова, настолько простые, что брало удивление: почему же я, такой же крестьянский сын, не мог додуматься до них и сложить в напевные строчки?

– Не жалеэ-э-ю, не зову, не пла-а-ачу...

И тут, словно чёрт из преисподней, перед ним возник взлохмаченный Лёнчик с лопатой наперевес:

– Хватит, мужики! Погуляли – пора и честь знать. Дома поплачете...

Агдам замолк. С удивлением посмотрел на странного человека и ничего не сказал. Даже не попытался отшутиться. Глубоко вздохнул и медленно, со старческой осторожностью, встал. И так же осторожно – будто ступал не по земляной тропке, а по канату, висящему над пропастью – направился к розовеющему в закатных лучах колодцу.

Наклонился над ведром. Может, хотел напиться, но почему-то передумал. Загрёб в пригоршню колодезной воды и окатил горячую голову. Постоял, прислушиваясь. Соловей не пел. И когда же он смолк, подавился, подобно горюнье-кукушке, житным колосом?

Агдам провёл рукой по слипшимся волосам и вяло, без какой-либо злости, проговорил:

– А зря мы его из колодца вытащили. Зря.

3

Острое волнующее чувство человека, находящегося между Небом и Землёй, Фатей никогда не испытывал в городе, среди мёртвого асфальта и высоких зданий. Это чувство приходило только в деревне, и особенно тогда, когда он, взяв грибную корзину, шагал просторным лугом к Большому лесу.

На месте этого луга когда-то было колхозное поле. Сквозь подошвы резиновых сапог Фатей ощущал неровности-шрамы: видно, поле напоследок вспахали, но не успели проборонить.

От поля не осталось ни синих васильков, ни ползучих вьюнков с их бело-розовыми колокольчиками-граммофончиками, ни сочного молочая... Только пушистые колоски лисохвоста напоминали незрелую, набирающую сок пшеницу.

Весенний бесшабашный ветер гулял как ему вздумается: то протяжно гудел в небесах, разгоняя курчавые облака, то падал вниз и начинал дуть Фатею навстречу с таким рвением, как будто вознамерился сбить его с узкой тропки, оттеснить подальше от Большого леса к берёзовому мелколесью и баклушам, поросшим розовым вербняком.

Над ним было широкое, простиранное до голубизны весеннее небо. Белопенные вздымающиеся над дальним лесом облака словно довершали небесную картину великой пасхальной стирки.

Фатей, оставляя залитую водой тропку, старался идти песочистыми кулижками. Кое-где, близ злаковых трав и тысячелистника, темнели подковы «ведьминых колец», на которых обычно росли луговые опята.

Здесь, между Небом и Землёй, Фатей по-особому ощущал скоротечность человеческой жизни. Отдавшись щемящему чувству, он шёл машинально, почти бездумно. Порой казалось, что его душа, выпорхнув из бренного тела, вольной птицей парит над ним, а он, странный, похожий на тень, продолжает путь к весеннему лесу.

Душа, смелея, отдалялась от него, стремилась туда, где ласково журчали жаворонки, и Фатей, ощутив неуют, беспокойно замирал на месте. Душа падала к нему прирученным ястребком. Фатей вновь обретал ощущение земной прочности и с неутолимой жадностью продолжал вглядываться в луговое разнотравье.

Он настойчиво шёл на свидание с лесом, а лес, похоже, был не прочь пошутить с ним; тёмная сосновая гряда то маняще приближалась, то неожиданно отступала и даже смещалась в сторону...

– Здравствуй! – наконец говорил Фатей лесу.

Он вытирал заляпанные сапоги о лиственный, потерявший осеннюю яркость, половичок, снимал с потной головы фуражку и медленно проходил мимо двух знакомых сосен, похожих на дверные косяки.

С елей свисали гроздья шишек, напоминающие гирьки старых деревенских часов, и кукушка, подающая хрипловатый голос, довершала картину особенного, избяного, уюта.

Невдалеке плотничал работяга-дятел – будто заколачивал гвозди в свежие лесины.

Намолчавшиеся в дальних краях птицы встречали Фатея слаженным хором. Пели дрозды, зорянки, щеглы, малиновки... Фатей умел различать голоса птиц, но сейчас, в этом радостном многоголосье, не хотелось выделять какую-то отдельную пичугу и восхищаться ею, подобно тому, как он восхищался неповторимым пеньем соловья.

Весенний лес казался новым, даже неузнаваемым. Приглядываясь, Фатей обходил завалы, лавируя между грудами рыжего, с белой плесенью, валежника, огибал бочажины, заполненные до краёв талой водой.

Сквозь сухие до черноты травы пробивалась яркая зелень, стараясь слиться с куртинками грушанки, брусничника, кислицы, которые благополучно перезимовали под снегом и сохранили живой окрас.

На буграх, прогретых солнцем, росла желтоглазая, с длинными лиловыми ресничками, сон-трава, а в мокрых низинах виднелись букетики медуницы. На фиолетовых и пурпурных колокольчиках медуницы сидели отощавшие шмели и пчёлы.

– Перезимовали, милые! – радовался Фатей.

Он ощущал острый уксусный запах рыжиков и сырого можжевела. По привычке заядлого грибника, готового искать добычу хоть под снегом, шарил глазами по лиственному опаду, по-детски надеясь на чудо: а вдруг?.. Фатей знал, что в мае на горелых местах и берёзовых вырубках могут появиться сморщенные, как нутро грецкого ореха, сморчки.

Он мог бродить по весеннему лесу часами, не замечая, как солнце обожжёт лицо, набросает в глаза какого-то невидимого сора, который, не боясь промывки, продержится под его покрасневшими веками несколько дней, а потом сам по себе истает, словно недолговечный снег.

Чтобы передохнуть, он садился на чистый берёзовый пенёк и «задумывался». В эти минуты, сливаясь с лесом, он забывал о времени и о себе.

Неохотно вставал и продолжал свой, с виду бесцельный, путь. Корзина беззаботно болталась в его руке. В какой-то момент Фатею становилось неловко за своё бесполезное шатание, и он начинал прикидывать, чем же заполнить пустую плетёнку.

В эту пору Фатей чаще всего собирал щавель и брусничник. В старом березняке искал целебный гриб чагу. Если же чага не попадалась, а собирать мелковатый щавель и обильно растущий брусничник надоедало, то Фатей заполнял корзину берёзовой кожурой, которая, подобно изношенной змеиной коже, сползала с гиблых надломленных берёз – отличное средство для розжига печи и подпечка.

Его всегда манило разнолесье: только что брёл светлым, струящимся куда-то в поднебесье, березняком, а теперь перед глазами островок ельничка, уютный, матово-изумрудный, без больших проходов-пролазов, а за ельничком виднеется осиновая роща с дрожливыми серебристыми листьями, а ещё дальше сосновый бор, где деревья, как петровские гвардейцы, на подбор.

Фатей умел искать грибы. Он не носился по лесу как нахлёстанный, а ходил расчётливо, неторопливо – как выражаются бывалые грибники, «действовал выползом и щупом». Ему были хорошо знакомы грибные хитрости: горькие валуи – видимо, желая, чтобы их сорвали, – предпочитали маскироваться под боровиков, а красноватые волнушки норовили прикинуться рыжиками. Фатей не сердился, не пинал раздражённо обманщиков, а терпеливо продолжал извилистый путь, приглядываясь к мшастой подстилке. И лес, испытав его терпение, одаривал желанными грибами.

Почему-то почти как раз, когда Фатей намеревался покинуть лес, на его пути каким-то чудесным образом возникал белый, прощальный, гриб. Что это было? Награда за труды? Приманка для будущих походов?

Потеснив другие грибы, Фатей клал боровик в корзину. И не мог удержаться от улыбки.

Фатей объяснял свою удачливость обыкновенной наблюдательностью, может быть, таинственным расположением леса. Но настоящим, природным грибником, по его мнению, был Агдам, который мог бродить по родному лесу с закрытыми глазами, чувствуя присыпанную листвой грибницу.

Обычно Фатей возвращался из Большого леса тем же полем-лугом, то и дело перемещая тяжёлую корзину из одной руки в другую. Ноги казались ватными, покалывало под лопаткой, но над физической усталостью преобладало ощущение душевной лёгкости, тихой умиротворённости – подобное Фатей испытывал только после посещения храма.

Однако высокие чувства нередко смазывал Однорукий. Он словно специально поджидал его, и, когда Фатей подходил к своей избе, Лёнчик выныривал откуда-нибудь из-за угла, быстро подбегал и, расплываясь в резиновой улыбке, – «Здорово, сосед!» – тянулся своей жилистой рукой к поскрипывающей от тяжести корзине:

– Ну, давай показывай, что насобирал! Много ль белых пнул?

– Не знаю, – честно отвечал Фатей. – Не считал!

– Зна-аем, зна-аем... – недоверчиво тянул Лёнчик. Он почему-то считал Фатея хитрым человеком.

От дурного соседа и за высоким забором не скроешься. А от стариков Рожновых осталась низкая ограда.

Выходит Фатей на свой огород и всегда, словно соблюдая некий ритуал, поворачивает голову направо. Делается спокойнее, если за оградой нет соседа, а вместо него возвышается на ягодной плантации бе-  
зобидное пугало с драной шапкой на шесте и изъеденной молью жёлтой кофтой на узких деревянных плечиках.

Настроение портится тогда, когда появляется Лёнчик. Чтоб не видеть и не слышать соседа, Фатей старается побыстрее, не здороваясь, уйти в глубь огорода, скрыться за ягодными кустарниками. Но и там его найдёт назойливый сосед. Обнаружит не только по шороху грабель или скрипу лопаты, но и по учащённому, с одышкой, дыханию.

– Здо-орово, сосед! – ласково пропоёт Лёнчик, наваливаясь грудью на забор. – Как жизнь? Как дела?

Грешным делом – случалось и такое – Фатей делал вид, что он, занятый по горло, не слышит соседа. Особенно это удавалось тогда, когда ветер дул в сторону Лёнчика.

– Здо-орово, Иваныч! Ты что, не слышишь?

Делать нечего, Фатей выпрямлялся и вяло здоровался. Ладно бы если всё заканчивалось взаимным пожеланием здоровья. Лёнчика неизменно тянуло на разговоры.

Вопросы сыпались один за другим:

– Как с картошкой? Всю посадил?

– Морковь у тебя на лентах или россыпью?

– Ты вроде смородину кипятком опрыскивал. И что? Не завелась зараза?

Фатей то шуткой отделается, то скажет серьёзно. А хочется ли отвечать серьёзно, когда твоим словам веры нет? Подозрительному Лёнчику кажется, что его сосед, почитывающий журналы по садоводству, что-то недоговаривает, а порой темнит: видно, не желает делиться своими секретами.

Однажды вышел Лёнчик на зады, за дальнюю ограду, прошёлся по меже и застыл в печальном недоумении:

– Ничего не пойму! На моей картошке жук на жуке, а у Иваныча чисто! Будто пионеры прошли...

Лёнчик не был бы Лёнчиком, если бы не попытался докопаться, почему его обошли.

– Хорошая у тебя картошка! – похвалил Лёнчик Фатея. – Без жуков. Опрыскал, что ли?

– И не думал! – честно признался Фатей.

– Ладно-ладно! – как будто поверил Лёнчик и, покрутившись возле чужих борозд, продолжил расследование: – Значит, руками собирали?

– Нет, Лёня, не собирали!

– Да не может быть такого! – заволновался Однорукий. – У меня что, картошка мёдом помазана? Так и липнут проклятые.

Помолчав, Лёнчик криво усмехнулся:

– Может, господь бог помог?

– Почему бы и не помочь! – ответил Фатей.

Дело обстояло так. Лёнчик, торопя урожай, посадил картошку в конце апреля. Фатей медлил: ждал, когда созреет земля. Он проверял землю так, как это делали его лапотные предки: брал сыроватый, ещё отдающий зимним холодком ком и медленно сжимал. Ком слипался, словно глина: с посадкой стоило повременить! Но вот, прогретый солнцем, ком быстро распадался, просачивался сквозь пальцы с лёгким пороховым дымком: можно сажать!

Наверняка и прибившийся к деревне Лёнчик знал, как проверяют на спелость землю. И всё же ему не терпелось с картофельной посадкой...

Когда у Однорукого вылезла на свет ботва, картошка Фатея ещё сидела в земле, расправляя хрупкие, с синеватым цветом, ростки. Естественно, выползшие из своих зимних укрытий жуки с жадностью набросились на картофельное свежьё, стали спариваться и делать на исподней стороне листьев жёлтые зернистые кладки. На участке Фатея жуки расплодились позже...

Пока Лёнчик разгадывал картофельную шараду, к нему заглянул за бутылкой бормотухи Агдам – Лёнчик всегда держал при себе дешёвое зелье и продавал его с наценкой.

Однорукий поделился с Агдамом своими страданиями, и тот, не моргнув, нашёл причину:

– Да ты что? Телевизор не смотришь? Недавно один сибирский мужик вывел особый сорт. «Антиколорадская»! Её и жук не берёт, и проволочник не трогает. У Иваныча шурин работает большим человеком в министерстве сельского хозяйства. Короче, прислал полмешка. Иваныч недавно проговорился. Правда, быстро опомнился и наказал мне: никому ни гугу...

«Мели, Емеля!» – усмехнулся Лёнчик, но сомнения не отпали: а чем чёрт не шутит!

Тем временем Фатей, сам того не желая, преподносил соседу сюрприз за сюрпризом.

Лёнчик обычно выкашивал траву на усадьбе немецкой электрокосилкой. Фатей пользовался литовкой, оставшейся от прежних хозяев. Важно похаживал Лёнчик взад-вперёд со своим жужжащим, словно пчелиный рой, агрегатом – только зелёные клочья летели в разные стороны. Фатей неспешно помахивал острой, со старинным клеймом, косой, частенько останавливался, чтобы протереть влажной травой белое полотно. Лёнчик выкашивал усадьбу под нулёвку. У Фатея такой чистой стрижки не получалось: мешали колдобины, кочковатые места. Но проходила какая-то неделя, и подрастающие травы у соседей выравнивались. Лёнчик переживал: ради чего, стараясь, он переводил дорогущее электричество, когда хитрый Иваныч ничего не потратил, кроме собственного пота?

Но больше всего Лёнчика поразила история с градом. Настолько поразила, что он был готов уверовать в высшую силу.

Однажды в летний день на спокойном небе появилась неведомо откуда белёсая тучка с синеватым отливом. Казалось, тучка стоит на месте. Но наблюдательный Лёнчик, соизмеряя положение тучки с кроной соседской липы, догадался, что странная тучка, медленно кружась, приближается к Берёзовке.

Поглядывая на небо, Лёнчик продолжал трудиться на своём просторном огороде.

Туча, скручиваясь в спираль, нависла над Лёнчиком. Суматошно закричали вороны, разлетаясь в разные стороны. Повеяло сладковато-острым небесным запахом. Затрепетали листья липы, заходили ходуном высокие ветки, и на землю, в пересверке лучей, посыпались крупные ледышки.

Ухватившись за голову, Лёнчик скрылся в сарае и со слезами на глазах наблюдал, как град косил его зацветшие помидоры .

Град побил лук, свёклу, исполосовал, как ножом, широкие листья капусты.

Лёнчику захотелось соизмерить свои потери с ущербом соседа. И каково же было его изумление, когда он увидел, что градобой миновал огород Фатея...

Острые ледышки, дотаивая, лежали грудкой вдоль забора, на стороне Лёнчика, а помидоры на грядках Фатея держались с вызывающей прямизной.

– Как же так? Как же так? – плакался Лёнчик, обращаясь то ли к медленно уплывающей туче, то ли к своему соседу-хитровану. – Только я один пострадал!

Фатей молчал.

– Как же так? Мы же рядом... – не унимался Однорукий. – Промеж нас словно черту провели. Не понимаю!

Фатей пожимал плечами.

А Лёнчик продолжал докапываться:

– Не понимаю, Иваныч! Честно говорю: не понимаю! Может, заговор какой знаешь, а?

– Знаю! – вырвалось у Фатея.

– Какой? – Лёнчик пожирал соседа глазами. – Ну?

Фатей улыбнулся:

Дождик, дождик, перестань,

Мы поедем на Ердань...

Лёнчик замахал руками:

– Я с тобой серьёзно, а ты шутишь!

– Что поделаешь! Я других заговоров не знаю...

О градобое, поразившем огород Лёнчика, вскоре узнала вся деревня. Люди приходили к нему, расспрашивали. Лёнчик целую неделю хранил срезанную градом помидорную ботву, показывал каждому: «Смотрите, сколько завязей! И все псу под хвост!», подводил любопытствующих к расхристанным, вбитым в землю, перьям лука: «Не знаю, поднимутся ли?» и под конец, вымаргивая из глаз слезу, надолго останавливался возле завивающейся в вилки капусты: «Что он натворил! Одни кочерыжки остались...»

Лёнчику сочувствовали. Как могли, успокаивали: бывает и хуже. Лёнчик удивлялся: куда ещё хуже?

Бабка Лукерья поинтересовалась, не перебегала ли Лёнчику дорогу чёрная, без единой пестринки, кошка? – «Откуда ей взяться? Только моя рыжая тварь под ногами путалась!» Валя Стряпуха спрашивала, не снились ли Лёнчику перед градобоем особенные, вещие сны? – «Какие ещё сны? За день так ухайдакаешься – спишь без задних ног...» Древняя бабушка Акулина, перекрестившись на чистое небо, как на святую икону, пустилась в воспоминания: «А ведь был заговор от града. Точно был. Я от своей прабабушки слышала. Всё позабылось... Только последние слова помню: "Чур, наше место! Чур, наше место"!»

Никанор Комлев, человек серьёзный, набожный, внимательно выслушал словоохотливого Лёнчика и строго спросил:

– Ты когда в последний раз молился?

Лёнчик в замешательстве потрогал на груди медный крестик и пропищал детским голосом:

– О чём спрашиваешь, дядя Никанор? Я с одной рукой так за день измотаюсь, что ширинку порой едва расстегну. Чтобы сходить по малой нужде...

– А ты без руки молись! – посоветовал Никанор. – Душой и словом тянись к Богу. И не ссылайся на горячую пору. Молитва не знает сезона.

Лёнчик помолчал и величественно показал крючковатым протезом на просторный, с ухоженными грядками, огород:

– Видишь, сколько всего посажено? Бог труды любит. Так я говорю?

– Добра соль! – усмехнулся Никанор. – А переложишь, и рот воротит.

Бедолагу Лёнчика не просто жалели – ему несли со всех сторон новую рассаду. Повеселел страдалец. Собирает рассаду, но сажать не торопится. Даже проникся ощущением неожиданной выгоды: хорошо, что посадил помидоры и капусту раньше всех; потянул бы волынку и, возможно, остался бы без дармовой рассады.

Лёнчик прикапывал рассаду, опрыскивал холодной водой. И усиленно думал, как разместить такое количество свалившегося на него добра. Даже мелькнула шальная мысль: не продать ли на рынке?

Как-то вечером, когда жара спала, Лёнчик возник с охапкой рассады возле соседского забора:

– Не надо ль капустки? Помидорчиков?

– Спасибо! – сухо отозвался Фатей. – Что хотел, уже посадил!

– Да я бы выкинул её! – признался Лёнчик. – Только вот думаю: грех добром разбрасываться! Грех! – Ощутив свою праведность, Лёнчик даже посветлел лицом.

– Спасибо! – повторил Фатей.

– Как знаешь! Было бы предложено... – Лёнчик поворошил рассаду. – Хорошая капустка! Без килы... – И, развернувшись, накатистыми шагами удалился в глубь своего огорода. Шел и прикидывал на ходу: где же разбить новые грядки?

В это знойное лето Фатея, как никогда, беспокоила картошка. К «земляному яблоку» у него было особое отношение. Фатей, стеснённый обстоятельствами, мог не посадить капусту, помидоры, но никогда не представлял себе настоящего огорода без картошки.

Фатей родился в черноземном краю, в бунинском подстепье, и знал цену картошке, что хлебу присошка. Его дед Василий едва ли не единственный во всей деревне сажал редкую по тем временам картошку «лорх», жёлтую, рассыпчатую, В каком только виде она не подавалась на выскобленный добела деревенский стол: и варёная, и жареная, и мятая, приправленная цельным молоком, и круглая, посыпанная солью-мелюсом или крупной, льдистой, соличкой... Варили её в чёрном чугунке – в мундире и без мундира. В голодные послевоенные годы картошку ели вместе с кожурой, и эта кожура, золотистая, крахмалистая, казалась малолетнему Фатею необычайно вкусной.

Фатей хорошо, во всех подробностях, – как будто это было вчера – помнит, как они с бабушкой Варей ходили по весне на колхозное поле собирать мёрзлую картошку. Из этих поборышей, похожих на серые каменюки, делали крахмал, добавляли в блины и оладьи.

Впереди, положив лопату на плечо, шла бабушка Варя. За ней с пустым ведёрком, которое то и дело ударяло по ноге, тащился Фатей. На нём были большие, не по росту, кирзовые сапоги. Чтобы ноги не выскакивали из сапог, Фатей, собираясь в поход, надел толстые, из овечьей шерсти, носки, замотал их отцовскими фронтовыми портянками.

Земля была чёрной, как грачиное крыло, и липкой, словно столярный клей. Она медленно затягивала ноги и старалась стянуть с Фатея тяжелеющие шаг от шага сапоги. Чтобы не забуксовать, Фатей старался идти по бабушкиным следам, по возможности ступать на зазеленевшие клочья дерновины, а когда уставал, выбирался на твёрдую кромку поля, поросшую хвощом. Взбрыкивал, словно озорной стригунок, сбрасывая с сапог липкие ошмётья. Пока бабушка ковырялась в земле, успевал сорвать с десяток розоватых пестиков сочного хвоща и съесть. Искал, чем бы ещё полакомиться, и находил зацветающую сурепку.

Нет, не мог засосать его, подобно болоту, родной, исходящий радужными струйками, чернозём. Поле словно играло с ним, подсказывало, что пора вслед за тёплыми подшитыми валенками снимать и грубые сапоги.

Под золотистым куполом неба заливались невидимые жаворонки. Казалось, от их трепетных крылышек дрожит и переливается чистый, как родниковая струя, воздух. По комковатой осенней вспашке бродили вперевалку угольно чёрные, с синеватым отливом, грачи, выискивая червей в разбросанных по всему полю навозных кучах. Вестники весны настолько сливались с чернозёмом, что их выдавали только длинные желтоватые носы.

Фатей жмурился, подставляя лицо солнцу. Это солнце не могло испепелять и яриться, как дикий зверь. Дневное светило ласкало, нежило, улыбалось и даже играло. Необыкновенные переливы солнца приходились на Пасху и на Петров день.

Многое изменилось с тех давних пор...

Хотя и в канун этого жаркого беспощадного лета, как и тогда, в босоногом детстве, солнце казалось ласковым и приветным. Обнадёживая, прошли налётные весенние дожди, поторопили набухающие почки. Казалось, после недавней зимы и колорадских жуков на огороде Фатея стало меньше: может быть, их доконали крепкие, прожигающие землю, морозы, а возможно, помогло и неожиданное открытие...

Копая огород по весне, Фатей обнаружил несколько прошлогодних картофелин. Клубни были крепкие, сочные на срезе. Он отложил находку в сторону и, когда уже собирался уйти с участка, обнаружил на картофелинах присосавшихся, словно к кормящей матке, полосатиков.

«Да это же ловушка!» – догадался Фатей.

Перед посадкой он разбросал на картофельном участке порезанные клубни. Заморская нечисть сразу же набросилась на приманку. Фатею только оставалось отправить жуков в банку с подсоленной водой...

Пробились из земли хрупкие всходы. Их никто не тревожил.

В очередной раз прошёлся по меже Лёнчик:

– Ничего не пойму. Куда у тебя жуки подевались?

Фатей улыбнулся:

– Может, почва другая?

– Посмотрим... – задумчиво сказал Однорукий.

Вскоре пришла жара, и Лёнчик, сравнивая участки, торжествовал победу. Его картошка цвела и зеленела, а Фатей едва успевал собирать размножающихся, как комарьё на болоте, колорадских жуков.

Каждый вечер довольный Лёнчик возникал на своём картофельном участке. С его плеча, подобно прирученной змее, свисал шланг с головкой распылителя.

– Как картошечка? – спрашивал Лёнчик Фатея.

– Сам видишь... Неважнецкая.

– То-то! – улыбался Лёнчик. – Небось, дождя ждёшь?

– А ты не ждёшь?

– А чего его ждать-то? – Лёнчик бросал шланг между бороздами. – Польёт какой-нито химией!

– А ты химией не пользуешься?

– Было дело. Дихлофосил! – признавался Лёнчик.

А как тут не признаешься? Фатей собственными глазами видел, как его сосед вдоль борозд с респиратором бродил. От его вонючки за версту несло.

– Теперь без химии нельзя! – оправдывался Лёнчик. – А вот если ещё химический дождик пройдет, тогда совсем кранты.

– Нет, Лёня, от дождя, как и от солнца, решетом не укроешься! – рассуждал Фатей и, сворачивал разговор, снова брался за мокрый веник – жуков было так много, что их приходилось стряхивать с ботвы в ведёрко.

Лёнчик, напевая под нос, уходил к колодцу, чтобы включить опущенный в воду электронасос. Проходила какая-то минута, и оставленный им шланг начинал фыркать и метаться в картофельном междурядье.

Снова приходил Лёнчик, поднимал с земли свою резиновую змеюку и начинал щедро, не жалея времени, опрыскивать ботву.

Фатей, поглядывая на соседа, не мог избавиться от ощущения, что Лёнчик, прислонивший шланг к бедру, не поливает картошку, а, не ведая стыда, мочится.

Багровое солнце садилось за лесополосу, неясную, пепельно-туманную, и высушенные добела травы, покачиваясь, издавали неживой, стеклянный, шорох.

А Лёнчик все лил и лил колодезную воду.

Словно желая поддразнить соседа, он направлял шланг на выгоревшую от солнца межу, разделяющую их огороды. Ветер доносил до лица Фатея свежую россыпь.

«Когда же будет дождь?» – Фатей с надеждой поглядывал на небо.

А Лёнчик продвигался всё дальше и дальше по своим зелёным, обсыпанным дохлыми жуками, бороздам – благо длинный шланг позволял ему уйти очень далеко от дома. Казалось, бородатый человек в ковбойской шляпе мог бы при желании добраться до железнодорожной лесополосы и, подняв шланг над головой, окатить тугой струёй красное закатное солнце. Оно, наверное, зашипело бы, как недогоревшая головня, вытащенная предусмотрительным хозяином из русской печи, и, помигав, изошло бы кислым паром.

Но невозможно было дотянуться рукотворным шлангом до вечного солнца.

4

Грибник грибника видит издалека. И неудивительно, что Фатей, обосновавшийся в Берёзовке, сразу же заинтересовался Сергеем Черкашиным, к которому ещё не приклеилось хмельное прозвище.

Агдам, как многие заядлые грибники, предпочитал ходить в лес в одиночку. В своей пятнистой камуфляжной форме он почти сливался с летней зеленью. Ступал мягко, по-кошачьи, – едва ли сухой сучок треснет под его ногами – и старался не оставлять после себя каких-либо следов грибной охоты. Как догадывался Фатей, Агдам присыпал потревоженную грибницу травой и мхом, причём делал это так умело, что трудно, было догадаться, что он здесь только что брал грибы.

Фатей и Агдам встречались в деревне, разговаривали, но, оказавшись в лесу, они становились как бы незнакомыми. И у того и у другого не появлялось желание подойти, перекинуться парой слов и тем более заглянуть в чужую корзину. И, что удивительно, в этой лесной отстранённости они не испытывали взаимного недоброжелательства – видимо, в их натурах было что-то родственное.

Но как лесным тропкам ни виться, а близкая встреча должна была случиться. И Фатей всё-таки однажды столкнулся носом к носу с Агдамом в Ближнем лесу, который почти вплотную примыкал к Берёзовке с московской стороны.

Покружив с пустой корзиной по березняку, Фатей решил попытать счастья в красном лесу. Он выбрался из влажноватой низинки, пересёк лесовозную, с рваными колеями, дорогу и направился к сосновому бору.

Вопреки сезонным приметам, куковала кукушка. Сладко пахло сосновой хвоей. Отмахиваясь длинными листьями папоротника от комарья, Фатей прошёл метров сто лесным коридором и неожиданно увидел на мохнатом комле поваленного дерева корзину, наполненную боровиками со светло-коричневыми, ореховыми, шляпками. Фатей сразу же узнал уёмистую корзину из необшкуренного ивняка.

Приглядываясь к земле, Фатей обогнул заросли можжевела, и здесь, среди старых чешуйчатых сосен, он увидел человека с граблями. Агдам!

Сергей сосредоточенно ворошил игольник. Он сразу же почувствовал человека за спиной, быстро оглянулся и, не здороваясь, спросил:

– Ну как грибки? Попадаются?

Фатей улыбнулся и ответил излюбленной фразой Сергея:

– Грибов полно. Только отыскать нужно...

Агдам весело блеснул металлическим зубом:

– Что верно, то верно.

Он подгрёб к ногам рыжеватый валок и осторожно поворошил:

– Небось, всё ножичком пользуешься? А я решил на грабли перейти. Целую корзину боровиков нагрёб!

– Вот как... – сказал Фатей, оглядываясь по сторонам. Он увидел возле куста орешника тележку, заполненную доверху хвоей, и широко улыбнулся: – А стоило ли тебе с деревянными граблями связываться? Не лучше ли сразу на конные перейти?

Агдам тоже заулыбался.

Они поняли друг друга, и, похоже, упоминание Фатеем канувших в прошлое конных грабель по-особому расположило Агдама к новому дачнику: сразу видно, что свой человек, от земли.

Агдам посерьёзнел и перестал валять ваньку:

– Вот решил ягоды игольником обложить...

На следующий год Фатей воспользовался подсказкой Агдама. Он обложил землянику сосновой иглой и не разочаровался: хвоя хорошо пропускала дождевую влагу, заглушала сорняки, а ягода вызревала на подстилке сухой и чистой, без какой-либо гнили и плесени.

С той памятной встречи между грибными охотниками завязались тёплые отношения, похожие на дружбу.

Агдам жил на птичьих правах у Веруньки, однако и не забывал родную мать. Он помогал ей как мог: пахал, копал, косил, заготавливал на зиму дрова, но всеми силами сторонился прополки: «Не мужичье это дело...»

Курсируя по деревне от Веруньки к матери и обратно, Агдам, бывая навеселе, не прочь был завернуть для разговора к Фатею.

– Иваныч, где ты? – кричал Агдам, отодвигая плечом калитку. – Кончай посевную! На перекур!

Фатея не тяготили посещения Агдама: он был ему интересен. Чего только не было в этом человеке! То покажется сорвиголовой – и чёрт ему не брат! – то удивит природной рассудительностью. То в мальчишеском хвастовстве распушит веером петушиный хвост, а иногда, поддавшись гордыне самоуничижения, наговорит на себя с три короба – и чего только он, такой-сякой, разэдакий, в своей жизни не натворил! – но не дай бог кому-то пожалеть его – только презрительно усмехнётся – или, того хуже, показать превосходство над ним, таким шелопутным и чуть ли не пропащим, – сразу выпустит ежовые колючки...

– И-иду! – откликался Фатей.

Он сворачивал огородную работу и, тяжело ступая, подходил к железной бочке с водой. Тщательно ополаскивал руки, протирал висевшей на заборе тряпицей, и только после этого они обменивались довольно крепкими, мужскими, рукопожатиями.

Они садились на переносную лавку. Агдам извлекал из нагрудного кармана с оторванной пуговицей жестяную коробочку с самосадом.

– Ну как дела? – интересовался Фатей. – В лес ходил?

– Набрал кое-что! – отвечал Агдам. – Комарьё заело! – Он облизывал лоскуток газетной бумаги и ловко, по-солдатски, скручивал цигарку.

Фатей не курил, но с удовольствием вдыхал сладковатый аромат домашней, крупно рубленной, махорки, напоминавшей об отце-фронтовике и о своём недолгом баловстве в молодые годы.

– И-эх, жизнь! – вздыхал Агдам. – Дома не сидится, а в гости почему-то не зовут. Так вот и живём: ползком, где низко, шажком, где склизко. То бочком, а то скачком...

Фатей улыбался: складно говорит!

– Я тебя не задымил? – спрашивал Агдам.

– Дыми, дыми... Комары будут меньше кусать!

– Ну и комарьё! – Агдам звучно шлёпал по лбу. – Совсем обнаглели! Нет, Иваныч, раньше комар другой был.

– Что же изменилось? – спрашивал Фатей.

– Как что? – удивлялся Агдам. – Раньше комар зудит возле тебя, местечко выбирает. А потом сядет тихонько, выпустит хоботок и сделает... как её?.. ане... язык сломаешь!.. ане...

– Анестезию! – подсказывал Фатей.

– Вот-вот! Заморозку, проще говоря. Чтобы не больно было. А теперешний комар бьёт с налёта, как пчела, и никакой тебе заморозки. В чём дело?

– Дорогая пошла заморозка! – усмехался Фатей. – Возможно, экономят.

– Вот-вот! – охотно подхватывал Агдам. – Дорогущая! Ты знаешь, во что мне обошлась заморозка одного зуба? Сто сорок рубликов!

– Лихо! – сочувствовал Фатей.

– Вот и я про то. Кругом обираловка. Я ему говорю: «Зуб совсем раскачался. Можно и так вырвать!» А этот пузан в белом халате свое долдонит: «Нужна анастасия! А вдруг заражение?..» Нет, Иваныч, в следующий раз я Ваську-другана позову. Он запросто выдернет. Пассатижами. А сто сорок рублей на другое дело пойдут. Правильно я мыслю?

– Правильнее не бывает! – поддерживал Фатей.

Агдам умолкал, гасил окурок о подмётку ботинка и аккуратным щелчком отправлял в крапиву.

– Вот и крапива другой стала! – продолжал Агдам. – Бывало, берёшь её по весне, а она, как шёлковая, не жжёт. А теперь кусает, словно осенняя муха.

– Похоже, озлились на нас и комары, и крапива! – заключал Фатей.

– А как не озлиться? – соглашался Агдам. – Человек хуже любого паразита. Вонзил шприцы в матушку-землю и сосёт, сосёт из неё. Говорят: нефть, а я, по простоте своей, другое думаю. Это кровь. Земная кровь. Комары из нас кровь пьют, а мы – из Земли. Как говорится, два сапога – пара. На комаров обижаемся, а у самих рыльце в пушку. Так я мыслю?

– Вполне здраво!

Поощрённый Агдам улыбался:

– Вот-вот. Как маленько заложу, меня на умственный разговор тянет. Верунька злится: «Кончай лясы точить!» А я что с собой поделаю? Каков родился, таков и есть. Дурака учить – что мёртвого лечить! Вчера по телевизору слышу: от нашей Земли какой-то гуд идёт! Сам себе думаю: «Что за гуд? Да не гуд это, а самый натуральный стон!» Неужто эти учёные мужики не додумались, что Земля – живая? Её, матушку, как сивку-бурку, холить надо, добрым овсом кормить, а мы одно усвоили: «но» да «тпру». И не только ее длинным кнутом по кострецам стегаем, а норовим ударить где больней – по животу...

Агдам пускал тугой дым на вьющихся комаров и продолжал:

– Ты слышал, Иваныч, как один цыган своего коня к голоду при-  
учал? Со всем табором о заклад бился. Говорит: «Добьюсь своего! Приучу! Без еды вороной обойдётся!..»

Фатей знал эту байку, но ему хотелось послушать Агдама:

– Рассказывай!

– Ну слушай. Значит, поспорил цыган. Решил своему коню корм урезать. Всё меньше и меньше овса задаёт. Неделя прошла. Конь отощал, но ещё ничего, хвостом оводов отгоняет. Другая неделя прошла. Цыгана спрашивают, стало быть, интересуются: «Ну как твой конь? Приучил?» Цыган отвечает: «Потерпите маленько. Сами увидите...» Ещё два дня прошло, цыгана спрашивают: «Ну как?» А цыган вздохнул и отвечает: «Почти приучил. Вот только вчера он копыта отбросил...» – Агдам попытался рассмеяться, но смех обернулся кашлем.

Смахнув непрошеные слёзы, Агдам заключал:

– Я думаю: взбрыкнёт скоро наша сивка-бурка. Сколько терпеть? Так взбрыкнёт, что мы с её шеи кубарем покатимся! И костей не соберём. Правильно я мыслю?

– А может, все-таки удержимся? – говорил Фатей.

– Нет уж! – возражал Агдам, – Коль за гриву не удержались, за хвост не удержишься.

Покурив раз и два, Агдам, загадочно улыбаясь, подходил к забору и звал жалостливым бабьим голосом:

– Лёо-онид, а, Лёо-онид! Кончай работу, а то пупок надорвёшь!

Лёнчик вглядывался в покачивающегося за оградой человека – Агдам, ради куража, разыгрывал из себя сильно пьяного, – недовольно морщился: от Агдама он не ожидал ничего хорошего. Но делать нечего –   
надо было как-то откликаться.

– Здо-орово! – отвечал Лёнчик густым басом. И куда вдруг подевался его писклявый, птичий, голос.

– Лё-ончик? – удивлялся Агдам. – Ты вроде мужиком стал? Что с голосом-то?

– Да водицы холодной попил!

Агдам хитровато прищуривался:

– Из своего колодца брал? Иль из общего?

– Зачем мне общий, коли свой рядом?

– Та-ак! – задумчиво тянул Агдам. – Из своего, значит. А понос ещё не прошиб?

– Чего несёшь? Какой понос?

– Эх, Лёня-Лёня! – вздыхал Агдам, приваливаясь к забору. – Токуешь, как тетерев, и не соображаешь, с какой стороны пульнут.

Лёнчик настораживался.

А Агдама несло на всех парусах:

– Живёшь и не знаешь, что у тебя за огородом был когда-то скотомогильник. Вот и прикинь: может ли какая бактерия в колодец попасть? В грунтовые воды, а потом и в колодец? Тут, Лёня, даже не поносом пахнет, а натуральной сибирской язвой.

Лёнчик приоткрывал от удивления рот.

– Попьёшь, Лёня, и всё! – пугал Агдам. – Кранты. Как поётся в народной песне, «закрылися карие очи...» Я бы на твоём месте анализы сдал!

– Какие ещё анализы?

– Да не твои! Не торопись... Анализ воды. В эпидстанцию

– Чего плетёшь? – сердился Однорукий. – Пил бы поменьше – ерунду бы не городил!

– Это я пью? Я? – Агдам таращил глаза и вызывающе постукивал кулаком в грудь: неужто о нём речь? – Ты подумай хорошенько: когда мне пить? Родился – не пил, а помру – тем более. Я и сейчас редко выпиваю: только с воскресенья до поднесенья. Абросим не просит, а поднесут – не бросит...

– Известное дело: не бросишь! – На лице Лёнчика появлялась ехидная улыбка. – Только наливай! Мимо рта не пронесёшь! И как в такую жару люди пьют?

Агдам пожимал плечами:

– По мне что жара, что пар. Жар костей не ломит, зато бражка хорошо бродит. Водка не про нас. Мы любим квас, а увидим пиво – не пройдём мимо. И пьём мы не в одиночку, как некоторые, а в приличной компании...

– Это в какой компании?

– Компания что надо! – бойко отвечал Агдам. – Вчера выпил с тыном, а позавчера – с дрыном!

– Оно и видно! – радовался Лёнчик. – Синяк ещё под глазом не прошёл!

– Асфальтовая болезнь! – пояснял Агдам. – Не всем же молоко пить. – Он смолкал и, продолжая приглядываться, к Лёнчику, спрашивал: – Ну как, праведник, на крестный ход собираешься?

Лёнчик хмыкал:

– Какой ещё ход?

– Василиса на крестный ход созывает. Будут всем миром у бога дождя просить. Не веришь?

– Верю ежу, а тебе погожу.

– Ну сколько мне врать? – обижался Агдам. – Я иногда и правду говорю. Не веришь? Могу перекреститься. – Агдам размашисто осенял себя крестом. – Ну что? Теперь поверил?

– Как сказать... – отвечал Однорукий.

– Пойдёшь с иконой? – допытывался Агдам.

– Посмотрим... – упирался Однорукий. – У меня свой дождь на огороде. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай! – Он насмешливо глянул на пьяненького Агдама. – А ты-то пойдёшь?

– Я-то? – Агдам напускал на себя дурашливо-беззаботный вид. – Конечно. С полным удовольствием. Если хорошенько причастят...

В это беспощадное лето Агдам редко заглядывал на огород к Фатею. Да и о каком перекуре могла идти речь, когда едкая гарь обволакивала всю Берёзовку: наглотаешься такого курева, и на самосад не потянет.

Рассказывали, что Сергей приспособился бить кабанчиков на водопое да ловить полудохлую рыбу в прогретых до самого дна озёрах – она всплывала сама, только успевай подгребать сачком...

Фатей думал об Агдаме, и всё чаще и чаще его охватывало необъяснимое чувство тревоги – казалось, грозовая туча сгущалась над головой Сергея и могла в любое мгновение разразиться смертельной молнией, Фатей пытался найти разгадку нарастающего беспокойства в своих обрывочных, забывающихся под утро, снах. Но почему-то не откликались высокие небеса желанным вещим сном, и Фатей осторожно, так, чтобы в нём не заподозрили человека, способного накликать беду, продолжал расспрашивать деревенских об Агдаме: где он и что с ним?

Всё прояснилось в последний день июля-страдника, когда Фатей, вставший пораньше, решил обкосить приствольные круги яблонь...

Ах, как празднично, вселяя надежду, цвёл в этом роковом году его яблоневый сад! Казалось, каждая яблоня была окутана бело-розовым душистым облаком. Облетали нежные лепестки, заметая разрыхлённую еще по осени землю, и на ветках, в молодой глянцевитой листве, появились завязи с серебристым пушком и едва заметным окрасом.

Одни завязи набирали силу, другие, уступая им, тихо отмирали. В этом не было ничего удивительного. Такую картину Фатей наблюдал из года в год. Но в это засушливое лето стали опадать завязи, которым в другую погоду следовало ещё жить да жить. А потом, не дождавшись срока, стали срываться с веток и незрелые яблоки.

Фатей и Аннушка едва успевали собирать опавшие плоды – они быстро покрывались коричневыми пятнами, гнили, привлекая расплодившихся, как никогда, мух – и уносить за огород, в заранее приготовленную яму. Яму, чтобы отвадить мух, присыпали землёй.

Трава в приствольных кругах мешала собирать опадь. Потому-то и взялся Фатей за острую косу. Он старался размахивать литовкой повыше, нажимая на пятку, но дело толком не шло: мешали комковатая земля и бугристые прошвы, проделанные кротами. Помучившись, Фатей решил перейти на серп, доставшийся ему от прежних хозяев, – как предполагал Фатей, этим серпом могли убирать рожь, полёгшую после дождей. Фатей не выбросил казавшийся ненужным серп, и вот теперь он ему пригодился.

Он брал за вихры длинную спутанную траву и аккуратно подрезал. Орудие с мелкими зубчиками работало на славу. Увлекшись необычной сечкой, Фатей не сразу обнаружил появление Агдама. Только успел заметить, как у дальней грушовки мелькнула чья-то фигура...

Держась правой рукой за яблоневый ствол, стоял Агдам. Был он в лёгкой тельняшечке, в зелёных камуфляжных брюках с множеством карманов и карманчиков. На голове его возвышалась горшком травянистая панамка.

– Фф-атей Ив-ваныч, здорово! – одеревенелым языком проговорил Агдам. – Можно тебя на минутку... Извини... Я не форме! – Он прижмуривал глаз, разглядывая свисающий сук с яблоками. Пошарив рукой в листве, Агдам схватил ускользающий от него плод и небрежно сунул в карман.

Фатей нахмурился: в таком непотребном виде Агдам никогда не приходил. Держа серп, он подошёл к Сергею и молча пожал протянутую руку.

Рука Агдама была непривычно слабой, потной, жаркой – казалось, она горела в невидимом огне. И сам Сергей был какой-то взъерошенный, необычный. Он то и дело беспокойно оглядывался по сторонам.

– Жнёшь? – попытался шутить Агдам.

Фатей бросил серп на горку срезанной травы и показал рукой на скамейку: что ж, пойдём поговорим! Он шёл и думал: какая же нужда привела Агдама в столь ранний час? может, решил стрельнуть деньжонок на опохмелку? – однажды было и такое...

Агдам сел на край скамейки к едва не грохнулся вместе с ней – хорошо, что Фатей, наблюдавший за ним, вовремя подсел.

– Садись поближе! – подсказал Фатей. Продолжая хмуриться, поинтересовался: – Что отмечаем? День пограничника?

Агдам усмехнулся:

– Скорей дивер... диверсанта! Иваныч, извини...

Агдам скособочился, забираясь в карман. Фатей подумал, что тот, как обычно, полез за куревом, однако на этот раз Сергей извлёк плоскую фляжку, отвинтил дрожащими пальцами крышечку и приложился жадно, словно голодный телёнок к материнскому соску.

– Ф-фу, зараза! – тяжело выдохнул Агдам. – Неужто на табаке? До кишок продирает! – Кривя лицо, он надкусил яблоко. Жевал медленно – словно беззубый.

– Вата! – сказал Агдам и бросил огрызок к забору. – У меня где-то вобла была! – оживился он и стал проверять карманы. Ничего не нашел. Удивлённо развёл руками и проговорил: – Уплыла золотая рыбка... Иваныч, извини!

Фатей терпеливо ждал, что будет дальше. Должен же он в конце концов объяснить, зачем пришёл-пожаловал? Но Агдам тягостно молчал –   
только крутил головой по сторонам да вытирал губы. Фатея так и подмывало сказать просто, по-отечески: «Шёл бы ты, Серёжа, домой! Перекурим в следующий раз...»

Фатею надоело играть в молчанку.

– Что случилось? – спросил он.

– Мм... матушка умерла, – выдавил Агдам. Помедлив, добавил: – Сегодня...

– Умерла? – переспросил Фатей.

– Тсс! – Агдам испуганно приложил палец ко рту. – Тише, Иваныч! Между нами...

– Как это случилось? – негромко, приглядываясь к Сергею, спросил Фатей. – Болела?

– Думаю, жара доконала.

– Н-да... – задумался Фатей. – Такая жара кого хочешь доконает... – Он пытливо глянул на Сергея.. – Врача ещё не вызывал? Не успел?

Агдам усмехнулся:

– Зачем врача?

– Как зачем? Зафиксировать смерть.

– А, может, не стоит её фиг... фиксировать? – Агдам отвернулся.

– Как это не стоит? – удивился Фатей.

И снова Агдам приложил указательный палец к губам:

– Тсс, Иваныч! Я же просил. Между нами...

Фатей пожал плечами.

– Да ты не беспокойся... – сказал Агдам и замолчал. С отвращением на лице пососал из плоской фляжки, вытер ладонью ало загоревшиеся губы и заговорил медленно и как-то отстраненно – казалось, он так и не поверил до конца в случившееся. – Я к матушке... перед этим... на прошлой неделе заходил. Нужно было бредешок взять. Хороший бредешок. Своими руками вязал. Порыбачить решил на Свято... – Голос Сергея потеплел. – Отличная вода на Свято! Остальные озёра прогрелись, протухли, а Свято, слава богу, ничего... Его родники спасают. Да-а,   
родники... – Он помолчал и стал медленно продвигаться к самому тяжёлому и неприятному. – Ну ладно! Проснулся сегодня рано. Попили с Верунькой чайку. Она говорит: «Поправь забор возле старой груши!» Ладно! Пошёл я на огород. Только укрепил столб, и вдруг голос: «Серёжа!» Такой жалостливый, аж душу пробирает. Мать! Бросил я лопату и к себе домой. Толкнулся в дверь – заперта. Постучал в окно, подождал. Никто не открывает. Решил двором пройти... Вхожу: а матушка под простынкой лежит и руки на груди сложила. Я ей: «Мам-мам!» А она молчит, не слышит. Потрогал руку – ещё тёплая. Не остыла, стало быть. В такую жару нескоро остынешь! – Агдам вздохнул и пристально поглядел на Фатея. Словно убедиться хотел: верит тот ему или нет? – Вот такие дела, Иваныч! У меня голова кругом пошла. Что делать? Полез за божницу. Там мать деньги обычно хранила. Смотрю: а в конверте всего три сотенки, три бумажки. Ко-ошмар! На что хоронить? Сегодня тридцать первое. Лиза Почтальонка пенсию третьего принесёт. Принесёт-то принесёт, да что толку! – Он озабоченно глянул на Фатея. – Я у тебя поинтересоваться хочу: положена ей пенсия за август или нет?

– Нет... – вздохнул Фатей. – Не положена.

– Вот и я подумал: не положена. Эх, матушка-матушка! – Агдам взволнованно закурил, роняя на ладони искры. – Не дожила до августа, не дотянула...

– Неужели гробовых не накопила? – спросил Фатей.

– Как же не накопила? – возразил Агдам, – Конечно, накопила. И бельишко на тот свет собрала. – Только вот... – Он глубоко затянулся. – ... деньжонки эти несчастные у неё в городе, на сберкнижке. А доверенности... доверенности у меня нет. И-эх! – Он замотал головой так, что зелёная панамка слетела. Нагнулся за ней, но не надел. Положил рядышком, на скамейку. – «Берия! Берия! Вышел из доверия...» –   
припомнил он частушку хрущёвских лет. С горечью признался: – Я одно время стал крепко поддавать. Что было, то было. Вот матушка и подумала: пропью её гробовые! Господи! Неужто я мог до такого докатиться? Гробовые пропить? Да никогда!.. – Сергей помолчал и подозрительно глянул на Фатея. – Ты, может, думаешь, что я сейчас её деньги, ну те, из конверта, пропиваю? Нет, Иваныч! На свои выпил. Завернул с горя к Галчихе. Она всегда самогон держит. Грохнул стакан, заправил фляжку. Ты думаешь, я для вина эту фляжку таскаю? Нет, Иваныч! Там зелёный чаёк был...– Насупившись, Сергей потянулся к нагрудному карману. – Подожди, Иваныч! Я тебе три бумажки покажу. Ну те, из конверта...

– Не надо! – сказал Фатей. – Верю!

Агдам успокоился, покосился на свою панамку. Она лежала донцем книзу – словно шапка на паперти. Он перевернул её и тихо заговорил:

– Ты не думай, Иваныч... Я не за деньгами к тебе пришел. Занять – дело нехитрое. Мой дедушка Пётр говорил: «Заниматься, что побираться...»

– И что же ты решил? – спросил Фатей.

– А что тут решать? За меня нужда решила. Полежит матушка до третьего числа. Пока пенсию не принесут... – Агдам старался говорить уверенно – будто убеждал себя в правильности решения. – Ничего... Полежит... Она у меня сухонькая. Не испортится! – Он задумался и стал перебирать числа.

– Значит, так. Умерла тридцать первого. Послезавтра крестный ход... –   
Он встрепенулся. – Матушка на крестный ход собиралась. И меня уговаривала: «Сходи, Сережа, не ленись! Авось ноги не отсохнут...» Эх, матушка-матушка, не дождалась ни пенсии, ни крестного хода! – Агдам скривил лицо. Казалось, вот-вот заплачет. Но как-то сумел удержаться, переморгал свою боль. – Ничего, матушка... Потерпи до третьего числа. Свою пенсию ты горбом заработала. И с какой стати я её подарю?

– А отдаст ли Лиза тебе пенсию? – засомневался Фатей.

– Отдаст. Куда она денется? Я её на крылечке подожду...

– А после и врача вызовешь?

– Не беспокойся, Иваныч! Всё будет чин чинарём!

Но Фатей не успокаивался:

– И врач поверит, что она третьего умерла?

– Поверит. Какая ему разница, когда умерла? А если вдруг ноздрёй завозит, брошу денежку в лапу. Думаешь, не возьмёт?

Фатей покачал головой:

– Ну, не знаю. Не знаю... Меня другое беспокоит: как она пролежит до третьего числа? В такую-то жару?..

– Что-нибудь придумаю! – продолжал хорохориться Агдам. – За формалин не ручаюсь, но льдом запросто могу обложить.

– Каким льдом? – удивился Фатей.

– Самым обыкновенным. У меня есть друган, охотник. Так он на лето свой погреб льдом набивает.

– Ну ты даёшь! – поразился Фатей. – А что с похоронами будешь делать? Ещё два дня будешь ждать, чтобы похоронить по-христиански ?

– Похороню четвертого. Сошлюсь на жару. Жара всё спишет.

– Как война? – усмехнулся Фатей.

– Ну вроде этого...

– Обычно монашек на второй день хоронят! – сказал Фатей.

– Она и жила, как монашка! – обрадовался Агдам. – В бога верила, на чужое не зарилась.

– А когда родню будешь собирать? Успеешь с поминками?

– Какая теперь родня! – поморщился Агдам. – Рассыпали муку по разным сусекам...

Агдам чуть-чуть привстал и натужно закрутился, проверяя карманы. Набухли вены на шее. Казалось, он пытается выбраться из собственной кожи.

– Нашлась золотая рыбка! – удивлённо выдавил Агдам и показал Фатею небольшую, с палец величиной, краснопёрку. – Плыви, родимая! –   
грустно сказал он и бросил вяленую рыбёшку в крапиву.

Растяжисто зевнула дверь на соседнем огороде. Послышался сдержанный кашель. И в открывшемся проёме двора появился пригнувшийся под притолокой Лёнчик. Его жилистую шею неплотно обвивали водяной шланг, электропровод и тонкий металлический трос-держатель. В сочетании с соломенной ковбойской шляпой поливальное снаряжение Лёнчика очень походило на лассо.

– Физкульт-привет! – весело крикнул Лёнчик.

Фатей что-то пробормотал в ответ.

– Привет фермеру! – откликнулся Агдам и опёрся обеими руками на скамейку. Видимо, хотел встать и подойти, как обычно, к забору, чтобы пособачиться, но не смог. – Ну как хомут? Ещё не натёр холку?

– Своя ноша не тянет! – сказал Лёнчик и поправил на плече ребрастую, обёрнутую изолентой, бобину насоса.

– Ну смотри!.. – медленно, с той долей таинственности, которая всегда гипнотизировала Лёнчика, проговорил Агдам. – Смотри, Лёня!.. –   
Он прищурил красноватые, казавшиеся больными, глаза, – Тебе, случаем, селитра не нужна?

– Какая ещё селитра! – обиделся Лёнчик. – Я что, террорист? Налил глаза с утра и людям мозги канифолишь!

– А ты не шевель чужой щавель! – ощетинился Агдам. – Сперва на себе репьи обери.

– Чем по чужим дворам шляться, лучше бы матери помог! – учил Лёнчик. – Она небось замучилась вёдра таскать!

– Не волнуйся. Помогу! – глухо сказал Агдам и замолчал, ушёл в себя.

Лёнчик потоптался на месте и бросил напоследок:

– Ну какой дурак пьёт с утра? В такую-то жару...

Агдам ничего не ответил – это было так не похоже на него. Покусал припухшие, как после удара, губы, и тихо проговорил:

– Ничего не понял, дурак. Селитру всегда в почву закладывали.

– Аммиак? – догадался Фатей.

– Ну да! – подтвердил Агдам и, усмехнувшись, передразнил Лёнчика. – Какая ещё селитра? – И, покачав головой, добавил: – Ещё в милицию стукнет! Фермер долбаный.

Он понурился, опустил плечи. Потом встряхнулся, поднял голову и, понукая себя, несколько раз повторил: «Ну, всё! Я пойду...» Но почему-то не уходил, а только дёргался, словно тягловая лошадь, угодившая в трясину. «Надо идти, Иваныч! Надо, Ты не беспокойся...» Он смотрел на Фатея остро, осмысленно – будто и не прикасался к зелью. Только карбидный душок изо рта выдавал его.

Наконец Агдам отлип от скамейки, нахлобучил на голову панамку и, прежде чем уйти своим бесшумным лесным шагом, бросил вместо прощального «до увида» напоминающее:

– Между нами, Иваныч...

Открывая калитку, обернулся:

– Нагрузил я тебя... Извини!

Он исчез, а Фатей, сгорбившись, продолжал сидеть на неустойчивой, готовой опрокинуться в любую минуту скамейке. Он ставил себя на место Сергея и старался, не избегая деталей, представить, что тот будет делать в ближайшее время. Пожалуй, как и обещал, к Галчихе не завернёт, а направится к своей Веруньке и постарается заняться забором. Хорошо, если Вера не заметила его отсутствие. А если обнаружила, что мужик внезапно исчез? Куда ушёл? Зачем? Агдам завертится, как щука в мотне, начнёт что-то сочинять. Про смерть матери, конечно, не проговорится. А что дальше? Будет тянуть до третьего, до пенсии? Может,   
передумает? Едва ли... Хорошо, если последние полгода Евдокия Ивановна наблюдалась в больнице. Проще будет со справкой. А вдруг у Сергея были проблемы с милицией? Тогда и врачом не обойдёшься...

Фатей размышлял. Его рассеянный взгляд то и дело скользил по рыбёшке, повисшей на крапиве. Краснопёрка напоминала о Сергее, будоражила мысли о нём. Невольно, присматриваясь к рыбёшке, Фатей вспомнил свою давнюю рыбалку.

Тогда, в жаркое время, он обкладывал свежую рыбу крапивой. Чтобы не испортилась. Он представил свой улов, уснувший в крапиве, и не сразу понял, почему его потянуло на рыбацкие воспоминания. Проще всего это можно было объяснить краснопёркой, брошенной Сергеем в крапиву. Но вслед за рыбой в спасительной крапиве на него вдруг повеяло-потянуло острым холодком льда, которым Агдам собирался обложить мать-покойницу, и Фатей устыдился за нелепый, даже в чём-то кощунственный, ход мыслей.

Он потёр глаза и, когда их открыл, обнаружил, что смутившая его краснопёрка исчезла. Раскачавшись, Фатей с усилием встал. Потёр занемевшие колени и медленно подошёл к крапиве. Поворошил зубчатые листья ботинком, а потом, взяв подвернувшийся под руку сучок, раздвинул травяные заросли в глубине...

Краснопёрка пропала, словно и впрямь уплыла по велению Сергея. Фатей пожал плечами. Ему сейчас не хотелось думать об этом удивительном, необъяснимом исчезновении: нет – значит, нет, и не стоит ломать напрасно голову.

С исчезновением краснопёрки Фатей стал понемногу успокаиваться. Осваиваясь в привычном для него житие-бытье, он начинал видеть и слышать то, что на время закрылось от него глухой пеленой.

В саду по-прежнему опадали яблоки. Срываясь с мёртвых черенков, они шуршали в суховатых, с изогнутыми краями, листьях, постукивали о мшастые, в трещинах, сучья и выбивали дробь в тех местах, где Фатей только что покосил-пожал траву. Эта дробь походила на звуки крупного града, который когда-то поразил огород Ленчика и каким-то чудом обошёл участок Фатея.

За стуком падающих яблок Фатей так и не расслышал тихое похрустывание за забором – это изголодавшийся кот Васька догрызал краснопёрку...

Нужно было отвлечься от тяжёлых мыслей, найти какое-то успокоение в работе. Потоптавшись, Фатей снова взялся за горбатый серпок. Он смахнул траву под яблонями, а потом, неожиданно для себя, принялся за починку лестницы, которая могла ему пригодиться при ремонте дворовой крыши. Старое рубероидное покрытие кое-где прохудилось и во время дождей давало течь. Фатея давно беспокоила крыша: – Пора чинить! Уже стропила крошатся из-за влаги! – но, отвлекаясь на другие дела, он откладывал кровельную работу на неопределённый срок. И вот теперь, когда дождя не было и как будто не предвиделось, Фатей вспомнил о худой крыше. Ещё предстояло запастись рубероидом и битумом, а он затеял работу, которая могла сейчас показаться не просто странной, но и нелепой: стоило ли в такую жару опасаться дождя? да пусть себе льёт изо всех щелей!

Он починил лестницу, забрался по ней на крышу и довольно долго изучал места протечки – самые коварные из них оказались на стыке железных листов и рубероида. Чуть отдохнув, Фатей принялся заделывать садовым варом трещины на коре старых груш...

Подходило время обеда. Аннушка несколько раз выходила на огород, звала его: пора! А он продолжал твердить своё: подожди! И с особым усердием, словно подстёгнутый, работал шпателем.

Аннушка, отчаявшись оторвать мужа от работы, демонстративно задерживалась у него за спиной.

– Сейчас! Сейчас! – говорил он. – Не стой над душой!

Тревога за Сергея почему-то вспыхнула с новой силой.

Фатей даже был готов рассердиться на приставучую Аннушку. Рассердиться с единственной целью – скрыть за этим раздражением не покидающее его беспокойство.

– Подожди немного. Я сейчас...

Придя домой, он долго, почти не пользуясь водой, звенел стерженьком умывальника. Скорее не умывался, а тщательно разглаживал своё невесёлое лицо.

Разливая окрошку по тарелкам, Аннушка мельком взглянула на мужа:

– Что с тобой?

Он удивлённо посмотрел на жену и ответил с подчеркнутым безразличием:

– Устал. Обычное дело.

Аннушка помолчала. И вдруг спросила:

– Как там тётя Дуся?

И без того влажноватый лоб Фатея покрылся горячей испариной. Теряясь, переспросил:

– Евдокия Ивановна?

– Ну да! – ответила Аннушка.

Он впился в неё острым непонимающим взглядом: что за вопрос?

– Я слышала: ты с Сергеем разговаривал... – пояснила Аннушка.

– А-а, Сергей, – приходя в себя, проговорил Фатей. – Да, заглядывал... – И тут же, помешивал окрошку, нашёлся: – Приболела Евдокия Ивановна. Что тут поделаешь? И возраст, и жара...

– Да, жара! – согласилась Аннушка.

Фатей почувствовал, как запершило в горле. И так мучительно захотелось холодной колодезной воды.

В этот вечер Фатей собирался принести из колодца десять вёдер воды. Восемь – для огородного полива, два – для мелких постирушек, которые затеяла Аннушка. Эти два дополнительных ведра ставили Фатея в неловкое положение.

Бичом для всех водоносов стала Лукерья Сидорова. Старушка жила одиноко в своей небольшой избёнке как раз напротив колодца. Ходила на редкость плохо – жаловалась на отложение солей в суставах, – однако зоркостью бог её не обидел. Забросила бабушка свой огород, и если брала воду из колодца, то прежде всего на свой любимый зверобойный чаёк. Принесет старушка одно ведёрко в свою затенённую от солнца избу и снова займёт насиженное местечко возле распахнутого окна – за другими вёдра считает. Мерещится бабушке Лукерье, что даже по ночам натужно поскрипывает ворот и тихо, по-воровски, позванивает колодезная цепь.

Каждый раз, появляясь у колодца, находит «бабушка в окошке» какой-нибудь огрех:

– Ишь как цепь перекрутили! Не распутать...

– Воды-то сколько расплескали! И куда торопятся?

– Черпают и черпают! Всю воду замутили.

Фатею непонятно, из-за чего весь сыр-бор: перекрученную кем-то цепь легко поправить, помутневшая вода отстоится, ну а если и расплескали воду, то, как говорится, всего ничего – только воробью напиться. И всё же, выслушивая старую Лукерью чуть ли не каждый день, и Фатей начинает проникаться ненужными подозрениями. Такое чувство, что какая-то тёмная сила, пользуясь бездождием, пытается смутить и его душу...

На этот раз вышел Фатей с вёдрами прямо из дома, а не со стороны огорода с полураспахнутой калиткой. Это означало, что он будет брать воду для домашних нужд, а не для очередного полива. Глянул Фатей напротив: застыла Лукерья в своём открытом окошке, среди душистых гераней, ждёт – не дождётся вечернего водоноса.

«Может, заснула? – с надеждой подумал Фатей – Жара сморила?»

Нет, не заснула на своем боевом песту «бабушка в окошке» Беспокойно шевельнулась и даже свои зоркие глаза, уставшие от постоянного напряжения, протёрла ладонью.

Сопровождая свободной рукой убегающую цепь, Фатей с нетерпением дожидался далёкого всплеска. Долго раскручивалась цепь – казалось, она уходит в бездну. Когда ведро булькнуло, на барабане осталось только три кольца.

Осторожно, боясь расплескать воду, Фатей потянул ручку на себя. Заметил, как привстала «бабушка в окошке», наблюдавшая за ним.

Отнёс Фатей воду прямо в избу, спустился по ступенькам во двор и уже появился возле колодца с другими, хозяйственными, вёдрами. Ещё четыре раза придёт он к колодцу, восемь вёдер принесёт на свой заморённый огород, не мало это, но и не много, во всяком случае есть надежда, что бабушка Лукерья не отнесёт его к самым злостным расхитителям общественной воды.

Незаметно образовалась очередь из трёх человек. И, что удивительно, почти одновременно с Фатеем к колодцу подошёл Однорукий с двумя большими вёдрами – лицо недовольное, пыхтит, словно засорившийся тракторный движок. Фатей ответил кивком на его приветствие и пропустил вперёд: пусть наливает поскорее, лишь бы не отсвечивал!

Но не успел Фатей убрать вёдра с приступка, как у него за спиной снова замаячил Лёнчик.

– Баню, что ли, надумал топить? – спросил Фатей.

– Какая на хрен баня! – воскликнул Лёнчик. – Теперь и без бани напаришься! – И, не удержавшись, признался: – Вода из колодца ушла!

– Ну и дела! – посочувствовал Фатей.

– Хужей, чем у прокурора! – вздохнул Лёнчик. Он помолчал и с натянутой улыбкой добавил – будто похвалился: – И насос вдобавок накрылся! Перегорел!

Лёнчик пригнулся, отправляя ведро в колодец. И показалось Фатею, что его сосед словно уменьшился в росте, стал вровень с другими людьми, приходящими к старому колодцу.

5

Как только староста Василиса заговорила о крестном ходе, старожилы сразу же поддержали её: да, надо! вот только народ собрать непросто... Стали прикидывать, загибая пальцы, кто наверняка пойдёт, а кто, пусть и под благовидным предлогом, откажется,

Фатей раздумывал. В сравнении с городскими шествиями будущий обряд представлялся ему каким-то доморощенным действом и даже напоминал древнее волхованье. Смущало его и то, что обряд будет совершать не священник, а простой деревенский мужик Никанор Комлев. Говорили, что дед Никанора был до революции известным в округе дьячком-причётником и многое по части веры сумел передать своему внуку.

Василиса не спрашивала Фатея и Аннушку, присоединятся ли они к процессии. Однако по тому, с каким теплом и уважительностью она рассказывала им об определившихся участниках хода – «Даже дядя Макар собирается. Нога осколком покалечена, а он ничего, хорохорится: «Пехоте не привыкать! Одолею и этот марш-бросок!»» – можно было догадаться, куда клонит староста.

Время подпирало. Фатей волновался, нервничал. И больше всего досадовал на самого себя: «Ну сколько можно сомневаться!»

Похоже, и Аннушка испытывала противоречивые чувства. Она терпеливо помалкивала и не торопила мужа с решением. Однако по его настроению, отдельным словам, сказанным как бы между прочим, вскользь, догадывалась о том, что творится в душе Фатея, и за два дня до крестного хода спросила спокойно, словно речь шла о давно решённом:

– Возьмём икону Спасителя?

Фатей внимательно посмотрел на жену и согласился:

– Конечно, Спасителя.

И даже посоветовал:

– Поищи старые сапожки. По паханому придётся идти.

В ночь перед крестным ходом Фатей и Аннушка дольше обычного не ложились спать. Аннушка решила затеплить свечу перед ликом Спасителя. Но, как на грех, стеариновая свеча в божнице подтаяла и изогнулась. Фатей очистил чёрный фитилёк, попытался выправить свечу, но она продолжала клониться. И тогда он решил спрятать мягкую свечу в морозильное отделение холодильника – пусть полежит там некоторое время, затвердеет.

– Голь на выдумку хитра! – улыбнулась Аннушка.

Она убрала паутинную кисею в красном углу, протёрла древнюю икону подсолнечным маслом. В её домовитых движениях проглядывало что-то праздничное, пасхальное.

Фатей взял переполненное ведро из-под умывальника и вышел в сад, чтобы выплеснуть воду под смородину.

В траве стрекотали сверчки. Монотонно постукивали яблоки.

Он долго смотрел на подкрашенное закатными лучами мутное небо, пытался найти хотя бы одну лучистую звёздочку, которая могла бы снять тяжесть с души от этой гнетущей беспросветности. И, не найдя в небесах путеводного огонька, он перевёл усталый взгляд на верхушку высокого вяза.

Ветки вяза облюбовали скворцы. Как обычно, в предосенье, готовясь к долгому перелёту, они сбивались в стаи. Разминали старые крылья, учили неопытных слётков. Вот и теперь, вдоволь налетавшись, они отдыхали близ своих скворечен. Но и сейчас, отдыхая, скворцы вели себя беспокойно, суетливо: слётки, стараясь найти опору понадёжнее, то и дело перебирали крючковатыми ногами – казалось, они, потеряв равновесие, вот-вот упадут на землю, а матёрые птицы, опасаясь за молодых, махали крыльями и перепрыгивали с ветку на ветку.

Фатей, наблюдавший за своими скворцами из года в год, не мог не заметить, как оскудели этим летом птичьи стаи. Большие птицы отощали, утратили здоровый блеск чёрных крыльев, а их заморённые, чудом выжившие птенцы летали вяло и норовили задержаться на первом попавшемся дереве.

Постоянно перемещаясь, скворцы так раскачали верхние ветки вяза, что Фатей, как ни старался, как ни приглядывался, не мог угадать направление ветра...

Только вернувшись с улицы, можно было понять, насколько сильно нагрелась за день сосновая изба. Фатею показалось, что из предбанника он угодил в самую настоящую баню.

Аннушка легла спать. Фатей полистал отрывной календарь, посмотрел на часы и решил проверить вылепленную им свечу.

Свеча затвердела, покрылась матовым инеистым налётом. Фатей поправил пристывший фитилёк и осторожно поставил свечу у божницы.

Свеча загорелась ровно, спокойно, осветив живые, поблёскивающие на тёмно-коричневом фоне, глаза Спасителя. Фатей задумчиво смотрел на икону, слушая разлившуюся вокруг него глубокую скорбную тишину, и вдруг ему зримо представилась, настолько зримо, что он вздрогнул от неожиданности, женщина под белой простынёй со скрещенными на груди руками.

Евдокия Ивановна! Тётя Дуся... Лежит, бедная, одна-одинёшенька в своей тихой избе, и перед ней тускло светится большое зеркало, вставленное в дверцу шифоньера – Сергей наверняка не догадался завесить.

Что ощущает в минуту расставания со своим бренным телом человеческая душа? Удивление? Страх? Наверное, и то и другое. Потому-то близкие люди, провожая в иной мир освободившуюся от земных пут душу, стараются не оставлять умершего одного ни днём ни ночью.

Фатею стало не по себе. Он вдруг почувствовал себя виноватым перед Евдокией Ивановной и вместе с тем не мог понять, в чём заключается его вина.

Неуклюжей, будто сведённой судорогой, рукой он тяжело перекрестился и произнес:

– Господи!

Он не знал, что будет делать, но ему мучительно хотелось помочь усопшей.

– Господи! – прошептал Фатей. – Упокой душу рабы Твоей, Евдокии! Прости ей прегрешения, вольные и невольные...

Он не знал заупокойных молитв, однако ему доводилось присутствовать при отпевании. И теперь вспомнившиеся канонические выражения, смешанные со своими словами, зазвучали в его устах.

– Боже, милостивый, прими усопшую в Царство Твоё Небесное! Обогрей её душу...

Фатей заметил, как испуганно заметалось пламя свечи. Красноватые, как отблески пожара, блики заскользили по древней иконе, и живые глаза Спасителя глянули на Фатея с укоризной.

И Фатей пристыженно замолчал. Только выдохнул:

– Прости, Господи!

Он не мог понять, почему его искренние слова вдруг оказались не-  
угодными Богу.

И, как только он сомкнул свои уста, свеча обрела ровное горение.

Стараясь не скрипеть половицами, Фатей прошёл в комнату-опочивальню. Аннушка лежала на спине, положив на грудь скрещенные руки. Фатей замер. Ему показалось, что Аннушка не дышит. Он подошёл ближе...

– Ты спишь? – не выдержал Фатей.

Аннушка зашевелилась, что-то пробормотала.

– Спи! Спи! – тихо сказал Фатей.

Казалось, он успокаивает жену. А на деле успокаивал себя.

Вот и наступил Ильин день, день крестного хода. К восьми утра к деревенскому колодцу, месту сбора, потянулись просто одетые люди с иконами и без икон. Первой, как и ожидалось, пришла староста Василиса с мужем Гаврилой. Василиса держала на вышитом красным и чёрным крестиком рушнике икону Богородицы, а Гаврила, стараясь не наступать величаво шагающей жене на пятки, нёс ведёрко с берёзовым веником – казалось, он настроился не на крестный ход, а на обычную помывку в бане.

Пробежал по деревенскому порядку подросток Митя Блаженный с медным колокольчиком. Радостно улыбаясь, Митя названивал во все концы и кричал:

– Перемена! Перемена!

Митя созывал людей на крестный ход. Огибая затянутый ряской пруд, Митя натолкнулся на идущего к колодцу Стёпу Пчельника. Стёпа, недолго думая, схватил своей медвежьей хваткой горлана за шиворот и, устрашающе вращая глазами, прогудел:

– Чё орёшь, чудик? Чай, не в школе.

Но Митя, сын школьной уборщицы Домны, – начальную школу в Берёзовке закрыли вскоре после разгона колхоза – продолжал упираться и кричать:

– Перемена! Перемена!

Дружнее всех к колодцу сходились местные, деревенские. К удивлению многих, пришли две москвички, Лада и Алина, в светлых брючных костюмах, с картонными иконками, которые висели у них на груди. В руках молодых женщин были цветастые рулончики зонтиков. Всё это – и картонные квадратики на груди, и рулончики, похожие на эстафетные палочки, – наводило на странную мысль, что женщины приготовились к спортивному забегу.

Старый Макар, приглядевшись к москвичкам, многозначительно хмыкнул, но ничего не сказал.

Зато Василиса не смолчала:

– Зря вы туфельки надели. Только пыль черпать...

Из ближнего прогона вынырнул Лёнчик Однорукий. Без иконы, с длинной суковатой палкой. С этой палкой Лёнчик не только хаживал в лес по грибы, но и бродил по деревне: возможно, остерегался неравнодушных к нему собак, а может, следовал давней привычке.

Лёнчик задумчиво покружил возле мшастого колодезного сруба, пошевеливая сизоватыми, как недозревшая слива, губами, – казалось, он просто так, на всякий случай, пересчитывает собравшихся, – а затем подошёл к Стёпе Пчельнику. И сразу же негромко, так, чтобы не слышали другие, повёл деловой разговор:

– Скоро медовый Спас. Мне бы литрик свежачка. По сходной цене.

Стёпа отнекивался.

Дачница Полина Суворова поставила икону на приступок колодца и занялась волосами внучки. Она заплетала пшеничную, почти до пояса, косичку и терпеливо уговаривала:

– Иди домой. С нами нельзя.

– Почему нельзя? – хныкала Алёнка.

– Устанешь! Да и ноги собьёшь!

– Да не устану. По деревне бегаю – не устаю.

– Там дикое поле – не деревня. Что я с тобой буду делать, если устанешь? На закорках понесу? Мне дай бог,самой ноги дотащить...

– Ну возьми. Я дойду.

Фатей внимательно присматривался к собравшимся. Он старался увидеть в них что-то особенное, значительное – всё же на крестный ход пришли, а не на собрание по поводу вывоза домашнего мусора, но люди держались на редкость просто и буднично. Судя по разговорам, их больше всего занимал ветер, налетевший ночью на деревню и натворивший немало дурных дел: у кого-то завалил забор, у других погнул антенны... У Вали Стряпухи ветер бесстыдно, до голызны, задрал край железной крыши, а Нюра Кочнева с трудом обнаружила парниковую плёнку, оказавшуюся на самой верхушке липы.

Но, разочаровываясь, Фатей замечал и другое: люди, собравшиеся у колодца, с каким-то особым вниманием, даже теплом, приглядывались друг к другу – казалось, крестный ход, ещё не начавшись, исподволь объединял их, ставил по одну сторону, как солдат при обороне.

Фатей заглянул в ведёрко Гаврилы. Заметил, что там вода.

– Крещенская! – пояснил Гаврила. – Трёхлитровую банку перелил.

Василиса присматривалась к задумчивому Фатею и неожиданно спросила:

– Дуся-то пойдёт? Вроде собиралась...

У Фатея перехватило дыхание: с какой стати она спрашивает именно его? Не отрывая от Василисы удивлённых глаз, он с трудом подбирал слова.

– Приболела. Скорее всего, не пойдёт! – прозвучал негромкий голос.

Но это сказал не Фатей, а Сергей, оказавшийся у него за спиной. Фатей даже не заметил, как тот подошёл со своей Верунькой.

Фатей торопливо кивнул Сергею, и этот кивок больше походил не на приветствие, а на выражение благодарности: ведь Сергей избавил его от вынужденного вранья.

Ещё раз пробежал по порядку Митя Блаженный, названивая школьным колокольчиком:

– Перемена! Перемена!

Все ждали главного человека – Никанора Комлева.

И вот на свороте дороги показалась семейная троица: Никанор, его жена и старший внук-студент, гостивший в Берёзовке. Никанор, невысокий, кряжистый, держал в правой руке крест-распятие, рядом с ним шла дородная Марья, прижимая к груди застеклённую, в окладе, икону Богородицы, и, чуть поотстав, неторопливо шагал внук Тихон, высокий, погружённый в себя, похожий бледностью лица на монаха-затворника.

У Фатея было такое ощущение, что эти люди явились из какого-то другого мира, но их внезапное появление не тревожило его, а, наоборот, вызывало душевное умиление.

Похоже, при виде степенной четы Комлевых и их иконописного внука смягчилось сердце Полины Суворовой.

– Ладно! Иди! – сказала она вытирающей слёзы Алёнке и убрала икону с колодезного приступка.

Никанор, не говоря ни слова, поклонился собравшимся низким старомодным поклоном, подошёл к хлопотливой, как наседка, старосте Василисе. Они о чём-то тихо переговорили. Гаврила, улучив момент, извлёк из ведра зелёный, с крепким черенком, веник и для убедительности потряс им, забрызгав не только свои резиновые сапоги, но и подол Вали Стряпухи.

– Чего веником трясёшь? – упрекнула Валя.

– А чем еще прикажешь трясти? – ухмыльнулся Гаврила.

Валя едва не расхохоталась.

Подождали ещё немного: а вдруг кто-то придёт?..

– Пора! – взглянув на очистившееся после ночного ветра небо, проговорил Макар Дельнов, и все согласились со старым солдатом-фронтовиком.

Участники хода потоптались, покружили возле колодца и как-то легко, будто договорились заранее, разбились на пары, чтобы идти по левой, безопасной, стороне дороги. Однорукий хотел прилепиться к Стёпе Пчельнику, но тот ушёл к Макару Дельнову – «Надо поддержать старика!». Тогда Лёнчик заговорил ласковым голосом с Леной Сорокиной, которая так же, как и он, пришла одна, но и Лена не составила ему пары. Надеясь, что всё же в конце концов получится чётное число и кто-нибудь волей-неволей останется с ним, Лёнчик решил подождать. Но, как на грех, оказался двадцать первым и лениво побрёл в конце процессии, словно бык, отставший от стада.

Подчиняясь шагам Никанора и Марьи, которые были впереди, участники хода степенно шли вдоль деревни по сморщенному, с обнажившейся щебёнкой, асфальту, а у колодца продолжали стоять две старухи с заплаканными глазами, две вдовы, Лукерья и Акулина – они словно во второй раз провожали своих мужей на беспощадную войну.

После ночного ветра небо было слегка припорошено тополиным пухом ещё не народившихся облаков. Поднимающееся солнце уже потихоньку пробирало Фатея сквозь холщовую рубаху.

«Жаркий будет денёк!» – подумал Фатей, сочувственно поглядывая на прихрамывающего Макара.

Когда поравнялись с избой Черкашиных, Сергей быстро посмотрел на своё родовое гнездо и опустил голову. А его Верунька прошла спокойно мимо голубых наличников.

«Ничего не знает!» – догадался Фатей.

Миновали покосившийся крайний дом на левой стороне порядка. Никанор, прикидывая, где ему остановиться, всё чаще и чаще поглядывал на обочину дороги. Обочина была пыльной, узкой, граничила с длинной сточной канавой, поросшей ольхой. И тогда Никанор решил, обойдя канаву, пройти в низину, оказавшуюся за огородом последней избы.

Осторожно, по едва заметной тропке с белёсой свалявшейся травой, Никанор сошёл в низину и остановился в тени высокой берёзы с подрезанной корой. Стал дожидаться, когда подойдут остальные.

Процессия медленно, как вытекающая из-под ещё прочного наста полая вода, стала сосредотачиваться возле берёзы.

Светлолицый Тихон достал из холщовой сумки большую тетрадь в синей коленкоровой обложке, очень похожую на скучную амбарную книгу, извлёк из неё сухой цветок-закладку и неторопливо протянул деду.

В свою очередь Никанор отдал внуку серебряный крест-распятие, потом достал из нагрудного кармашка очки, подул на них и тщательно протёр о рукав рубахи.

Фатей с любопытством поглядывал на моложавого, не по возрасту, Никанора, и ему почему-то представлялся колхозный председатель, которому предстояло прочитать дежурную и, возможно, не им написанную речь. Сейчас он сделает паузу, внушительно кашлянет, подчёркивая значимость момента, а затем лихо – как из ружья –   
выпалит:

«Товарищи!..»

– Перемена? – робко спросил Митя Блаженный.

– Кончилась перемена! – тихо ответила Домна. – Урок начался... – И отобрала у сына медный колокольчик.

Никанор широко перекрестился – пальцы у него были сложены щепоткой, как у сеятеля, – и, возвышая голос, заговорил на церковном языке.

– Владыко Господи Боже наш, послушавый Илию Фесвитянина ревности ради к Тебе, и во время посылаемому земли дождю удержатися повелевый, таже паки молитвою его дождь плодоносный ей даровывай...

Щуря глаза, Никанор то и дело отстранял от себя коленкоровую тетрадку. Казалось, он читает по памяти, а тетрадка ему понадобилась просто так, для уверенности.

Он читал негромко, самозабвенно, не обращая внимания на окружающих: слушают ли? понимают ли? Да и знал ли смысл каждого слова сам Никанор? Наверное, знал, но больше – чувствовал...

Фатей оказался во власти волнующего звучания. Он почти не вникал в смысл произносимых слов. Удивительная музыка овладела им, уносила в такие заповедные дали, что становилось одновременно и страшно, и сладко – словно он падал во сне в глубокую пропасть и, находясь на грани яви и сна, всё же осознавал, что не разобьётся...

– Приими моление всех людей Твоих, и не отрини воздыхания убогих...

Прислонившись к берёзе, деревенский мужик Никанор Комлев читал бессмертное творение Каллиаста, патриарха Константинопольского . Как долго длилась эта молитва – одна из четырёх, которые предстояло прочитать во время кружного пути за огородами – Фатей не смог бы сказать: земное время превратилось в одно мгновение.

Он пришёл в себя тогда, когда по его лицу прокатилась свежая волна...

– Во имя Отца и Сына и Святаго духа!..

Помахивая веником, Никанор кропил обращенные к нему лица, полёгшие травы, свисающие гирлянды жёлтых берёзовых листьев... Митя Блаженный подпрыгивал, стараясь поймать летящие капли. И Алёнка, улыбаясь, подставляла ладони: ещё! ещё!

А Сергей Черкашин стоял в стороне, сосредоточенно покусывая травинку.

Покропив, Никанор передал ведёрко Гавриле и взял крест у внука. Посмотрел из-под руки на прихлынувшие к огородам бурьяны, раздумывая, как лучше обогнуть деревню...

Когда-то за огородами пролегала земляная дорога. По ней ездили телеги, машины, колёсные трактора. Теперь рабочая дорога стёрлась, заплыла и поросла травяной дурниной.

Никанор решил не связываться с полчищем чертополохов и репейников, а повернуть правее, к берёзовому самосеву-мелятнику, окружённому лёгкой продувной травой-овсяницей, а затем ступить на паханую противопожарную полосу, которая могла стать единственной дорогой в бурьянном бездорожье.

Наклонившись вперёд, как при встречном ветре, Никанор повёл теряющую стройность колонну. Люди спотыкались, путались в траве, останавливались, чтобы успокоить дыхание, и снова устремлялись за человеком с сияющим на солнце крестом...

Тракторист из центральной усадьбы, похоже, не расстарался: про-  
ехал разок, в одну сторону, оставив после себя завалы дёрна и длинной мочалистой травы, а назад не вернулся, чтобы сравнять или хотя бы растащить эти кучи посреди гусеничных полос.

Участники крестного хода заняли узкие колеи, проделанные трактором, и медленно, заступая ногой за ногу, направились к лесной окраине деревни. Прежний порядок расстроился. Мужчины в сапогах оказались впереди: им нужно было протаптывать дорогу для остальных. Лёнчик быстро сообразил, с какой стороны тянет ветер, и, чтобы не глотать пыль, выбрал безопасную колею.

Те, кто помоложе, балансировали без особого труда, а вот старый Макар, опирающийся на клюшку, то и дело терял равновесие. Стёпа Пчельник поддерживал Макара.

Пожалуй, только Митя Блаженный чувствовал себя в тракторной колее как рыба в воде. Босой, с непокрытой, давно не стриженной головой, он, словно заведённый, бегал по комковатой, отдающей земляным жаром, полосе и даже успевал, нырнув в глухие бурьяны, шугануть воробьев, облепивших репейники, и сорвать несколько кустиков сухой, теряющей позолоту, пижмы.

Митя собирал букет.

Гуляющий в небесах ветер разогнал белые барашки, и солнце, поднимаясь, палило так, как будто желало расквитаться за неумолимо наступающую осень. Птицы молчали. Даже коростель не подавал занудливый голос. Но было хорошо слышно, как в перезревших бурьянах постреливают стручки мышиного горошка.

Москвички, закрываясь от горячих лучей, развернули цветастые зонтики.

Фатей вяло, в каком-то полусне, шагал за Стёпой Пчельником и так же, как и он, останавливался, чтобы порушить ногами пороховые комья. Ни о чём не думалось. Фатей находился во власти общего, затягивающего, как воронка, движения. И с каждым новым шагом ему начало казаться, что всё происходящее сейчас уже было в какой-то другой, незапамятной, жизни...

Вот так же шёл впереди невысокий человек с крестом. И всё остальное, что открывалось сейчас взору Фатея, тоже было по-особому узнаваемым: те же скворечни на длинных шестах, тёмные, словно закопчённые, баньки, жёлтые кроны садовых деревьев...

Он смотрел направо и тоже видел знакомую картину: объятая пёстрым лиственным пожаром лесополоса, а на месте бывшего колхозного поля, о котором напоминал лишь тракторный след, белёсое море одичалых высоких трав: лисохвоста, овсяницы, мятлика... В этом шевелящемся море виднелись разлапистые сосенки, напоминающие заблудившихся людей с растопыренными руками.

И так же, как было когда-то, летели игольчатые пушинки чертополоха, прилипая к потным лицам.

И так же, высматривая добычу, множил плавные круги вечный коршун-перепелятник.

Переживая прошлое заново, Фатей силился узнать то, что случилось после изнурительного крестного хода, но память не пускала его дальше положенных земному человеку пределов. ..

Он продолжал слушать, как лопаются серебристые стручки мышиного горошка и сухо шуршат бесчисленные кузнечики, создавая ощущение тихого грибного дождя, и среди этих простых, приземлённых звуков так неожиданно зазвучал далёкий колокол – казалось, неведомый звонарь, спохватившись, всё же решил напомнить о крестном ходе.

Два заезжих плотника, орудуя топорами, сидели на верхнем венце сосновой клетки. Они как будто выполняли не обычную работу, а играли в звоны, обрабатывая сухое, выстоявшееся в жаре, дерево. Топор в руках пожилого плотника звучал глуховато-торжественно, а его напарник, белобрысый, обнажённый по пояс, паренёк, самозабвенно извлекал сладко ноющие звуки – особенно это получалось тогда, когда он неторопливо, с выверенной оттяжкой, крушил крепкие сучки.

Заметив процессию, бредущую среди бурьянов, плотники переглянулись и отложили топоры.

– Чё там? – удивлённо спросил молодой.

Пожилой, сдвинув кепку, почесал в затылке:

– Не пойму. Может, кого хоронят?

– Хоронят, а гроба нет. Что-то, Василич, не то... – усомнился молодой.

– Да хрен их теперь разберёт! – Пожилой потянулся за кисетом. – Наверно, какие-нибудь сектанты...

А необычная процессия медленно, но верно приближалась к Ближнему лесу, на окрайке которого, среди гиблого рыжего сосняка, смутно проглядывало небесной голубизной своих оград старое деревенское кладбище. Люди балансировали, напоминая неумелых канатоходцев, оступались в завалах, останавливались, чтобы отдохнуть и дождаться отстающих, И всё чаще, тревожа воспалённые от жары глаза, вглядывались в лесную гряду, которая казалась далёкой и даже недосягаемой.

И паханая полоса, похожая на первую весеннюю борозду, как будто не имела конца.

Вблизи от леса полоса неожиданно вздыбилась. Возникший вал напоминал окопы военных лет, и только деревенские знали, что на этом месте когда-то были колхозные бурты, хранившие добротный кукурузный силос.

Судя по всему, тракторист решил не объезжать заваленные ямы. Его трактор, словно боевой, рвущийся навстречу врагу, танк, махнул напрямки к проезжей дороге, и теперь участникам хода с большим трудом, чуть ли не на четвереньках, пришлось одолевать подъём. Помогая друг другу, люди протягивали руки, образуя цепочки.

Никанор поднимался самостоятельно. Когда нагибался, то казалось, что он чертит крестом по вздыбленной земле.

Однорукий, порывисто дыша, выставил вперёд обломившуюся палку: помогите! И Сергей, который недавно собачился с ним, без раздумий протянул руку и помог забраться на верх.

Старый Макар, выбравшийся с помощью Стёпы Пчельника на поросшую скудной травой обочину, неторопливо стянул с головы фуражку, помахал ею, словно веером, и устало сказал: «Привал!» Осмотревшись, Макар присел на оставленный кем-то винный ящик в тени придорожного дубка.

Москвички, расставшись с бороздой, принялись вытряхивать из туфелек густую пыль.

А Сергей, выбравшись на свободу, сразу же торопливо отошёл в сторону и закурил. Вдыхал глубоко, жмурил глаза от сладкого дурмана, а потом бросил иссосанный до основания окурок под ноги и затоптал.

С Лёнчиком происходило что-то странное: он побледнел так, что, казалось, напрочь лишился загара.

– Что с тобой? – спросил Фатей.

– Сс... сам не знаю! – выдавил Лёнчик. – Какие-то круги перед глазами. Мутит. Может, лергия на пух? – Он провёл протезом по небритой щеке – будто убирал белёсые иголочки чертополоха.

Если бы Фатей услышал про аллергию раньше, когда без особого желания общался с Лёнчиком через забор, то, наверное, улыбнулся бы и, возможно, пошутил, но сейчас, во время хода, ему было не до шуток.

– Есть у кого-то вода? – спросил Фатей.

Все молчали, и это было удивительным: отправились жарким днём в дорогу, а водой не запаслись.

– Может, таблетку дать? – предложила Валя Стряпуха. – У меня есть одна. Сердечная.

– Не надо! – поморщился Лёнчик. – Мне бы водицы. Глоточек.

Гаврила, проверяя, качнул ведёрко, и все, перехватив его взгляд, уставились на Гаврилу.

– Может, крещёной? – неуверенно спросила Валя Стряпуха.

– А кропить чем? – возразил Гаврила.

– Мне бы глоточек! – жалобно попросил Лёнчик.

– Дай ему воды! – приказал Никанор.

– Глоточек... – повторил Лёнчик.

– Можно и три! – улыбнулся Никанор. – Бог Троицу любит.

Гаврила убрал из ведра веник и нехотя подошёл к Лёнчику:

– Ну бери!

Лёнчик ухватился за дужку здоровой рукой, подпер ведро протезом.

– Перекрестись! – шепнула Валя Стряпуха. – Святую воду пьёшь.

Лёнчик переместил ведро к локтю ущербной руки и торопливо перекрестился.

Фатей отвернулся: было неловко смотреть на пьющего Лёнчика, считать его жадные глотки. Но даже если бы он наблюдал за ним, подобно другим, то едва ли что-либо понял: Лёнчик не глотал воду, а медленно цедил, словно запалённая рабочая лошадь.

Однорукий с усилием оторвался от ведра, тихо сказал:

– Спасибо!

Гаврила взял ведро и по-детски удивился, увидев в нём, вместо воды, далёкое небо.

А Никанор уже открывал разлинованную в клетку тетрадь...

– И Тебе благодетеля заповеди презрехом, и житие порочно, и мысль скверну и нечисту стяжахом: и не точию любовь отвергохом, но и якоже зверие друг на друга носимся, и плоти друг друга снедаем... Ты любиши, мы враждуем. Ты благоутробен, мы неблагоутробни. Ты благодетель, мы хищницы...

Фатею начало казаться, что он уже слышал эту молитву. Слова были понятны, отзывались в душе согласным эхом. И он, внимая молитве, готов был не замечать других людей, сгрудившихся возле Никанора, не слышать тиканья одинокой птицы в багряных кустах бересклета и не ощущать вяжущий запах дубовых листьев, отрезвляющий, как нашатырь. Но что-то мешало молитвенному уединению, и Фатей догадался, что виной этому Верунька.

Молодая женщина осторожно, таясь от других, лузгала семечки. Слушая молитву, она умудрялась сохранять не просто пристойное, но даже несколько скорбное, как на похоронах, лицо. Да и Сергей, отвлекаясь, то и дело оглядывался по сторонам, крестился небрежно и невпопад.

Фатей заметил, как Сергей сунул руку в брючный карман и что-то достал...

Сергей тихонько, по-воровски, протянул скучающему Мите Блаженному карамельку. Митя просиял и, не стесняясь, стал разворачивать липкую обёртку.

Коричневый дубовый лист, покачавшись в воздухе лодочкой, упал на раскрытую тетрадку Никанора. Никанор, не глядя, поймал ускользающий лист и держал его в руке до тех пор, пока не закончилась молитва. Потом вложил лист в тетрадь и приступил к очередному окроплению.

Он кропил щедро, размашисто. Бледное лицо Лёнчика снова обрело здоровый цвет...

Завершая обряд, Никанор подошёл к старому Макару, который слушал молитву сидя, и трижды обмахнул его душистым веником.

Никанор не торопил усталых людей. Он взял у жены платочек и стал тщательно протирать запылившийся крест.

Москвички принялись ломать серебристую полынь, чтобы отбиться от «серых мух», которые кусали больно, до крови. А Митя Блаженный, почувствовав свободу, понёсся во все лопатки к зарослям пижмы и иван-чая. Его коричневые, словно вылепленные из глины, пятки замелькали в сухой траве.

– Смотри! – шёпотом сказала Алина Ладе. – Носится, как угорелый! Колючек не боится, да и жара его не берёт. Дикий человек!

– Божий человек! – улыбнулась Лада.

Митя, охорашивая лохматый букет, подбежал к матери и жалобно, словно ученик, отпрашивающийся с последнего урока, попросил:

– Мам-мам, я на кладбище сбегаю!

– Зачем? – спросила Домна.

– Я букет на могилку положу. Тётеньке.

Стоящие рядом стали прислушиваться к их разговору. Сергей раздражённо пнул ботинком песчаный, с прожилками пырея, ком...

– Какой ещё тётеньке? – удивилась Домна.

– Бедной тётеньке. Ей даже веночек не положили. Её вчера закопали. Вечером.

– Ну что ты мелешь? – грустно сказала Домна.

И Стёпа Пчельник её поддержал:

– Бред какой-то. Там уже десять лет не хоронят.

Стёпа знал, что говорил. Когда развалили колхоз и люди, брошенные на произвол судьбы, стали отчаянно спиваться и умирать, довольно просторное деревенское кладбище словно сжалось в овчинку. Стараясь упокоить близких в родной земле, мужики сужали до предела проходы между могилами, клали умерших в одну яму, гроб на гроб, пытались отодвинуть общую ограду и, отвоёвывая новые метры, корчевали комлястые сосны, а некоторые, не утруждая себя, хоронили умерших за общей оградой, словно провинившихся перед людьми и Богом само-  
убийц. Федюня Луньков, копальщик заправский, безотказный, однажды посетовал: «Сколько можно с этим кладбищем возиться? Вырыли бы одну братскую могилу на месте буртов, и дело с концом! Земля там мягкая...» Однако осваивать брошенные силосные ямы никто не решился, и вслед за почившим колхозным вожаком – бессменным председателем Иваном Лукичом Королёвым берёзовские гробы стали отвозить на центральную усадьбу.

Фатей, думая о своём, почти не прислушивался к чужим разговорам –   
они как будто не касались его, – но в какой-то момент слова Мити и Домны стали настораживать...

Он, ещё ничего не подозревая, глянул на Сергея – тот заметно нервничал и искоса поглядывал в сторону кладбища, – и тут поведение Сергея и странные слова Мити соединились в жутковатой догадке:

«Боже! Он что, с ума сошёл?»

Фатей покачнулся и чуть не наступил на сапог Лёнчика. Однорукий удивлённо посмотрел на него и на всякий случай отодвинулся.

– Что с тобой? – заволновалась Аннушка.

– Да так... Пройдёт! – Фатей хотел беззаботно улыбнуться, но предательски закололо сердце, и он, досадуя на себя, негромко попросил: – Возьми таблетку у Вали...

Он попытался проглотить таблетку, но она прилипала к нёбу – впору крещенской воды проси!

Помучившись, Фатей разгрыз таблетку и почувствовал, как в горле разлилась полынная горечь.

А Домна продолжала разговаривать со своим сыном.

– Ну что с тобой поделаешь! Иди! Только не отставай!

– И отстанет – беды не будет! – усмехнулся Стёпа.

Но Митя не торопился бежать к кладбищу.

– Мамк, дай мне колокольчик!

– Ишь чего выдумал! Ну подумай своей башкой: зачем тебе колокольчик?

– Я тётеньке позвоню.

– Перемена? – поддразнил Стёпа.

– А то что? Перемена! – согласился Митя.

– Ну хватит! Беги! – Домна подтолкнула сына.

Митя взбрыкнул и, подражая лихому скакуну, понёсся галопом к кладбищу.

Никанор, приглашая, поднял крест над головой и сразу же занял своё место во главе процессии. И тут же, напоминая о ходе, звякнул медный колокольчик – это Домна, торопясь, не удержала гаечку.

Растекаясь по песчаной дороге, процессия двинулась к деревне. От Ближнего леса веяло банной духотой, увядающей листвой и сомлевшими травами, и всё же среди пестроты запахов заметно выделялся сладкий аромат смолистых сосен.

Люди с надеждой поглядывали на небо. Они старались почувствовать дыхание природы, обещающее дождь, но ощущалась ставшая привычной безотрадная сухость, да и в небе висело одно-разъединственное кучевое облачко. Оставалось надеяться на чудо и верить предкам, считавшим, что дождь об ину пору льёт не из темени, а из ясени.

Фатей и Аннушка незаметно оказались в конце процессии.

Когда миновали ближний прогон и стали пересекать деревенскую улицу, Аннушка спросила:

– Как себя чувствуешь? Может, домой?

Фатей мотнул головой: нет, ни в коем случае!

Никанор вёл народ к огородам, туда, где с возвышенья просёлочной дороги были видны бурьянное поле и бетонный скелет бывшей молочной   
фермы, окружённый высокими, в человеческий рост, зарослями сухого, в жёлтых лохмотьях листьев, борщевика.

Выбирая место для очередной остановки, Никанор замедлил и без того неторопливый, как на похоронах, ход, и тут Фатей услышал дробный топот...

Довольный Митя догонял процессию. Он успел не только положить на свежую могилу свой букет, но и выложил на бугорке крест из еловых веток. Митю всегда интересовали похороны, но прошлым днём, под вечер, ему не повезло. Когда Митя катил мимо кладбища на своём стареньком, оставшемся после отца, велосипеде, незнакомые мужики-копальщики уже собирались отъезжать от кладбищенских ворот. Митя поинтересовался: «Дяденьки, кого схоронили?» – «Тётеньку! – весело ответил ему шофёр грязной полуторки и, включив газ, посоветовал: – А ты кати, пацанчик, отсюда! Нечего тут ошиваться...» Но Митя не послушался. Как только полуторка отъехала, он бросил свой велосипед на обочину и побежал к «тётеньке» – уж так ему хотелось поживиться поминальной конфеткой. Но желанного гостинца на могиле не оказалось. «Наверно, птицы утащили!» – подумал Митя и, рассердившись, прогнал с ограды чёрного ворона...

Идущие посторонились, пропуская Митю вперёд, к матери. В меняющемся людском просвете Фатей заметил ныряющую, словно поплавок, зелёную панамку Сергея, и тревожные мысли овладели им с новой силой.

И вдруг сухим нарастающим треском разразилось безоблачное небо. Этот всхрапывающий звук рождал одновременно радостное изумление и страх: неужели гром?

И так хотелось поверить в долгожданное чудо...

Люди, как по команде, подняли тяжёлые, опущенные к земле, головы и разочарованно вздохнули: реактивный самолёт быстро удалялся, оставляя за собой перистый след...

Никанор сделал несколько шагов и застыл на ровно прокошенной дорожной обочине. Травяная щетина, оставшаяся после роторной косилки, отдалённо напоминала пшеничную стерню.

В горле Никанора пересохло. Он делал давящиеся напряжённые движения, пытаясь проглотить тягучую слюну, и наконец это удалось. Он облегчённо кашлянул и почти шёпотом начал третью молитву.

– ...вонми неможению естества нашего, яко Ты сотворил еси нас, виждь птиц стенание, скотов вопиение, младенческий плач, юнош вопль, старых окоянств, сирот лишение, вдовиц уединение...

Фатей рассеянно слушал молитву. Его занимало другое.

«Хоронить, конечно, нужно было. Не ждать же третьего числа. В такую жару и святой засмердит. Вызывал ли он врача? Без справки о смерти в любом случае не обойтись... Если и вызывал, то, скорее всего, вчера. Первого. И хоронил, выходит, тоже первого. За один день управился. Сложно, но можно. Дружков-приятелей, особенно среди шоферни, у Сергея хватает. Лихие ребята. Такие за литровку не только мёрт-  
вого, но и живого закопают. Был ли он сам на кладбище? Как сказать... Может, всё дружкам поручил, а сам в деревне отсиделся.,.»

– ...помяни уповающыя на Тя люди... Помяни и птицы, помяни и скоты, и дух росы наведи...

«Зачем я об этом думаю? – сердился Фатей. – Чем я ему теперь помогу? Он что, советовался со мной?..»

Но мысли прорывались сами собой:

«А что дальше? На что рассчитывает? На авось? Авось пенсию принесут, как обычно, третьего числа, и он её получит. А как он потом обьяснит людям исчезновение матери?..»

В какой-то момент Фатей почувствовал, что строгие слова молитвы совсем не противоречат его житейским и как будто неуместным сейчас мыслям – наборот, молитва о даровании дождя звучит одновременно и молитвой за всех грешных людей, в том числе и за Сергея Черкашина, едва не потерявшего в земной жизни своё крестное имя.

Никанор завершил молитву и приступил к очередному окроплению. Кропил по-прежнему размашисто, щедро – казалось, в его ведре была неиссякаемая манна небесная. Он посмотрел в усталые, устремлённые в себя, глаза Фатея и обмахнул его тёплым веником. Фатей очнулся и, смутившись, чуть не сказал «спасибо».

Люди подошли к краю обочины и, помогая друг другу, стали спускаться по откосу. Деревенские передвигались умело: бочком, приставным шажком и немного вкось, так, чтобы одна нога не мешала другой. Алина и Лада вихлялись на каблуках, хватались за прочные, словно канаты, репейники. Алина даже пыталась потянуться к толстому стеблю борщевика, но Валя Стряпуха вовремя задержала её: нельзя! можно обжечься!

Наконец участники хода оказались в ложбинке. Миновав заросли злющей крапивы, люди направились к огородам, туда, где желтела травяная полоса, проделанная колёсами какой-то громадной военной машины.

Идти по такой противопожарной полосе было непросто. Раздавленные травы, оживая, уже подняли кое-где свои изуродованные стебли. Чтобы идти по примятым взъерошенным травам, нужно было достаточно высоко, чуть ли не по-журавлиному, поднимать ноги. Не желая мучиться, люди покидали полосу и шли в обход.

По правую руку от идущих виднелась бирюзовая гряда Большого леса, охваченная снизу огнём увядающего березняка. Бросались в глаза куртины чёрного, словно обугленного, клевера. Обожжёнными казались столбцы конского щавеля. И кудлатые репейники, стоявшие в обнимку с чертополохами, выглядели как прошлогодняя трава после весеннего пала.

Выискивая проходы в бывшем колхозном поле, люди разбредались, обходили дремучий травостой и снова сближались, чтобы не терять друг друга из виду. На беглый взгляд могло показаться, что это колхозники возвращаются с косовицы: ведь наступила пора уборки отавы, второго сена. Но не было в руках бредущих ни кос, ни грабель, и только белые платочки на головах деревенских женщин напоминали о канувшей в прошлое страде.

Фатей почти машинально выбирал дорогу. По его лбу, попадая в глаза, струился солёный пот. Он иногда останавливался и промокал лицо влажноватым платком. Икона словно потяжелела в несколько раз, и Фатею приходилось часто перекладывать образ из одной руки в другую. Боясь споткнуться о кочку или угодить в кротовую нору, он чаще всего смотрел под ноги, но иногда вскидывал глаза к небу.

Под раскалённым небом продолжало роиться кучевое облачко да пятнистый коршун-стервятник, не уставая, делал свои бесконечные петли. Поначалу Фатею казалось, что это тот же самый коршун, который сопровождал их раньше, у лесополосы, но, приглядевшись, он догадался, что над ними кружит другая, более крупная, птица.

Было самое время жиреть уткам, откармливаться тетеревам и рябчикам на брусничных полянах, но когда-то кормный лес оскудел, а озерца и баклуши высохли до илистого дна. Даже полевая мышь, спасаясь от жары, занорилась глубоко и перестала давать потомство. Хищные птицы – ястреба, совы, пустельги – томились в бескормице. И было непонятно, на какую добычу рассчитывал этот коршун.

Хищная птица то плавно снижалась, то, суматошно замахав крыльями, взмывала высоко вверх, и тогда казалось, что ей нет никакого дела до мелкой дичи, и она зорко приглядывается к усталым людям, бредущим по бездорожью.

Приторно-сладковатый запах перезрелых бурьянов навевал на Фатея дрёму. Ориентируясь в пространстве, он иногда поглядывал налево – там виднелись огороды с невысокими заборами из горбыля и жердей, с провисающими, словно нитки, старыми пряслами. Темнели бревенчатые баньки, и невдалеке от них, ближе к полю, возвышались поросшие кустарником мусорные кучи. Своей ершистой округлостью эти кучи напоминали наспех смётанные травяные стожки. Было очень тихо – до ноющего звона в ушах, и потому так сильно резанул по слуху заливистый лай собаки...

За высоким железным забором гремела цепью сторожевая собака. Учуяв людей, она лаяла с непонятным остервенением, совсем не так, как деревенские собаки, и Фатей, приходя в себя, начал с удивлением вглядываться в двухэтажное сооружение, возведённое по прихоти богатого дачника: дом не дом, изба не изба, а какое-то броское сооружение с гранёными башенками, черепичной кровлей и просторной мансардой на месте чердака.

Москвички, идущие позади Фатея, навострили глаза...

Через проулок от дома-новодела стояла уютная в своей первозданности сосновая изба путевого обходчика Петюни Веселова. Обычная изба с садом-огородом, но в глаза бросался не багрянец вишнёвой листвы, а густая высоченная пшеница в конце огорода. Казалось, золотой клочок бывшего колхозного поля чудесным образом переместился на огород Петюни и теперь маялся в тесноте, за дощатой оградой, пытаясь выплеснуться на волю.

Москвички остановились.

– Смотри, Лада! Рожь...

– А может, пшеница?

– Какая разница! Натюрэль...

– Думаешь, сыроеды? – улыбнулась Лада.

– Почему бы и нет? – сказала Алина.

Однако выросший на молоке и мясе деревенский богатырь Петюня Веселов и слыхом не слыхивал о модных вегетарианских веяниях, а если бы и узнал, то наверняка скорчил бы кислую мину и выразительно постучал бы по выгнутой, как колесо, груди – «Я кто вам? Воробей?» Петюня хотел одного: чтобы вскормившая его земля дышала и рожала. Когда загубили ферму и коровьего навоза не стало, Петюня решил использовать вместо привычного удобрения хлебные злаки: густо посеянная пшеница не только улучшала почву, но и выживала худую траву.

До четвёртой молитвенной остановки за огородом Гордеевых оставалось не больше полукилометра, но ощущение было такое, что идущие одолевали не поле, а вязкое, с потайными топями, болото. Никодим видел всех и хотел довести свою нестройную паству до деревенской окраины в целости и сохранности. Он верил в старого Макара и в Грушу Хлебнову, которая натёрла ногу и заметно хромала. Но две женщины под цветастыми зонтиками вызывали у него беспокойство. Он видел, как Алина и Лада вязнут в чёрных сплетениях клеверов, часто останавливаются и, судя по дрожанию зонтиков, тщательно обирают с одежды липучие «собачки» и репьи.

Показывая, где он находится, Никодим то и дело поднимал над собой сверкающий крест, но в какой-то момент путеводное сияние исчезло, и Фатей остановился в замешательстве: а где же Никодим?

Фатей и Аннушка поднялись на взлобок, поросший невысокой травой. Фатей огляделся, и многое для него прояснилось: теперь крест-распятие держал в опущенной руке Тихон, а Никодим, помогая жене Марье, нёс икону Богородицы.

«А где же Сергей?» – подумал Фатей.

И то, что он увидел, повергло его в лёгкое изумление. В ковыльных волнах лисохвоста и овсяницы показался Сергей в золотых воинских латах. Он шёл накатистой уверенной поступью, и его панамка с короткими полями очень напоминала богатырский шлем.

Поддаваясь игре воображения, Фатей попытался рассмотреть в правой руке Сергея меч или копьё, но не было видно ни разящего оружия, ни самих рук. Плечи Сергея обрывались круто, ущербно – словно у безрукого человека.

Сергей прижимал обеими руками икону в серебряной ризе, только что взятую у Груши Хлебновой...

И всё же Никодиму не удалось довести всех до околицы. Как только миновали усадьбу Петюни Веселова, у Алины отвалился каблук. Женщина замерла на месте, разглядывая поломку. Заметив неладное, к Алине направились Стёпа Пчельник и Валя Стряпуха.

– Ну что у тебя? – грубовато спросил Степан.

– Да вот... – Алина показала подмётку. – Может, прибьёте? Камушком.

– Камушком? – усмехнулся Степан. – Нет, тут камушек не поможет.

– Как же быть? – Алина пританцовывала, стараясь найти для босой ноги местечко поудобнее. И всё же наступила на колючку бессмертника. – Ой!

– Проще второй каблук оторвать! – сказал Степан.

– Были туфли – станут тапочки! – бодро подхватила Валя, и по её лицу было трудно понять, шутит ли она или говорит серьёзно. – Идти будет легче, да и другой каблук не отвалится.

Алина по-детски шмыгнула носом: нет уж! Подошёл старый Макар, опираясь одновременно на свою клюшку и обломок палки, который ему отдал Лёнчик.

– Та-ак! – задумчиво протянул Макар. – Так. Хочешь не хочешь, а придётся тебе, милушка, сворачивать в деревню. Вон туда!..

Лада и Алина посмотрели туда, куда указывал клюшкой Макар, и удивлённо пожали плечами. Пространство между противопожарной полосой и огородами занимали высокие, казавшиеся непролазными, травы.

Лет десять тому назад, когда ещё держали коров и коз, за этими огородами косили – каждый житель выкашивал делянку напротив своей усадьбы, – но потом, когда вслед за колхозным свели и домашнее стадо, на задах, заглушив добрые укосные травы, расплодилась дурнина: колющая, жалящая, занозистая...

– До проулка рукой подать! – успокоил Степан. – Главное теперь – до мусорной кучи добраться!

Алина удивлённо глянула на Степана: что он говорит! А потом перевела взгляд на большую кучу, поросшую ивняком и бузиной.

И тут к задумчивым москвичкам подошла нарядно одетая – в кисейной кофточке, ситцевой цветастой юбке – Вера-Верунька. За её спиной маячил обыкновенный, без золотых иконных лат, Сергей Черкашин.

– Что стряслось, девушки? – насмешливо спросила Вера. – Забуксовали? Могу помочь... Проводить? – Она оглянулась на Сергея – тот красноречиво повёл плечами: делай как знаешь!

– Ладно! – сказала Вера. – Следуйте за мной!

Лада и Алина переглянулись: что ж, придётся идти!

Уверенно, по-хозяйски, Вера взяла раскрытый зонт из рук Алины, скрутила его в рулончик и бесстрашно ступила в глухие бурьяны.

Вера знала, что делать. Она раздвигала зонтиком высокие травы и неторопливо продвигалась вперёд, обламывая своими полусапожками поросль прямо у основания так, чтобы она больше не поднималась. Вера не связывалась с жилистыми репейниками и чертополохами, она обходила стороной острую осоку и, безбоязненно круша податливый трубчатый сухостой, терпеливо шла к мусорной куче. В эти минуты Вера походила на дикую утку, пытающуюся вывести своих детёнышей-несмышлёнышей из густых камышей на водную гладь.

Алина, ковыляя следом, недоумевала:

«При чём здесь мусорная куча?»

Но, когда дошли до кучи, Алина поняла необходимость странного, на её взгляд, ориентира: от мусорной кучи до ближайшего проулка вела нахоженная тропка.

Вера отдала распустившийся парашютом зонтик Алине и высоко помахала рукой. Возвращаться назад она почему-то не захотела.

И сразу, как только три женщины выбрались из травяных дебрей на дорожку, замершие до поры участники хода пришли в движение и продолжили крестный путь. Фатей оглянулся на женщин, которые гуськом, Вера – во главе, уходили к проулку, и грустно стало на душе: жаль, что не дошли! такой путь проделали, и вдруг подвёл каблук!..

Фатей посмотрел на оставшегося в одиночестве Сергея, и неожиданные мысли полезли в голову:

«А ведь ему повезло, что Вера ушла. Очень повезло. Ведь скоро пойдёт мимо своего дома. Ну как, для отвода глаз, не заглянуть к якобы больной матери? Пришлось бы зайти. А тут Вера... Тоже пошла бы. И что бы она увидела? Пустую избу?..»

Фатею начало казаться, что внезапный уход Веры был далеко не случайным: будто сам Господь укоротил ей путь, чтобы облегчить участь и без того запутавшегося Сергея.

А солнце становилось всё лютее. Казалось, дневное светило выжгло без остатка утреннюю синь, и неуёмная желтизна заполонила все небесные пределы. Кучевое облачко куда-то исчезло – то ли, спасаясь от солнца, закатилось за Большой лес, то ли распалось на пенные барашки. И даже коршун, словно оплавившись, превратился в мелкую птаху.

Алёнка, подставив небу ладошки, спрашивала:

– Баушк, когда будет дождь?

– Подожди. Скоро пойдёт! – устало отвечала Полина.

– Как же он пойдёт? Тучка спряталась.

– Подожди! – повторяла бабушка. – Господь даст новых тучек...

За бабушкой и внучкой, опираясь на палку и клюшку, ковылял Макар Дельнов. Шёл и дивился своим неслухам-ногам: неужели вконец износились? Когда-то был подпаском, посыльным, потом выучился на агронома – все окрестные поля вдоль и поперёк исходил. И на фронте его резвые ноги пригодились. Не раз, посмеиваясь, рассказывал: «Я всю войну в пехоте пробегал. Отступаем – бежим, наступаем – тоже бежим...» А теперь брёл старый Макар по заброшенному колхозному полю и вслух рассуждал:

– Что же это такое? С войны на костылях вернулся. И теперь на двух подпорках ковыляю. Полвека прошло, а Великая Отечественная будто и не кончалась!..

Наконец и к усадьбе Гордеевых, что на самой окраине, подошли. Усадьба как усадьба: с тына терновником и сливой позаросла, на задах банька, крытая слежавшейся щепой, а поодаль от баньки торчит межевой меткой пустой газовый баллон, выкрашенный в белый цвет.

Никодим снова принял сияющий крест, выдвинулся вперёд, и остальные люди, путающиеся в траве, словно в сетях, тоже подались к огородам, и Никодим, нагнувшись, чуть ли не падая, словно волжский бурлак, потащил тяжкий невод наизволок, к огибающей окраину просёлочной дороге.

Фатей держал в правой руке икону Спасителя, а левой рукой помогал выбившейся из сил Аннушке. И в голове была одна мысль: лишь бы дойти, не упасть! Летящие пряди паутины липли к одежде, попадали в глаза, и последние метры бездорожья Фатей преодолевал почти вслепую.

Поддерживая друг друга, люди выбрались из бурьянного плена и облегчённо заулыбались: наконец-то!

Никодим, щуря глаза, посмотрел на безоблачное небо, трижды перекрестился и занудливо, как пономарь, произнёс первые слова последней молитвы:

– Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, глаголом своим всё от небытия преведый, перстень вземый от земли и создавый человека, и душею словесною...

Люди замерли. Всем казалось, что четвёртая молитва, произнесённая в бездождие, будет решающей каплей на чаше Божьих весов. Наступившая тишина была глубокой, молитвенной, такой, какая бывает только в храме, и Фатей неожиданно ощутил среди грубых запахов увядающих трав и листьев тонкий аромат церковного благовония. Чем пахло? Миррой? Ладаном? Что это было? Чудо? А может, наваждение?

Дивный аромат источали потревоженные солнцем иконы.

– Ты бо Владыко человеколюбче, един еси Отец всех нас, и к Тебе единому очи возводим, яко отдоеное на матерь свою... Твоё есть слово преблагий Владыко... Просите и дастся вам, ищите и обрящете...

Фатей смотрел только на Никодима, но каким-то непривычно широким, всеохватным, зрением видел всех молящихся, и его поражала глубинная похожесть лиц – казалось, здесь, возле осиротелой избы, по неведомому приглашению собралась вся кровная родня Гордеевых.

На глазах Сергея поблёскивали слёзы...

Дождавшись окончания молитвы, Гаврила как-то неловко, бочком, придвинулся к Никодиму и тихо заговорил:

– Чем кропить-то будешь? Кончилась святая вода.

– Давай! – спокойно сказал Никодим и взял в руки распаренный веник.

Он уверенно опускал веник в ведро, помахивал широко, неторопливо. Окропляя, Никодим нечаянно хлестнул веником по лицу Сергея, и тот почему-то не отстранился – принял эти молитвенные розги как должное.

Крестный ход завершился, и сморённые жарой люди направились к дороге, разделяющей деревню. Митя Блаженный заулыбался ещё шире: наконец-то мать вернула ему колокольчик.

Когда ступили на разогретый до вязкости асфальт, Сергей стал отставать от идущих. Фатей тоже замедлил шаг. Его мучил вопрос: зайдёт ли Сергей для отвода глаз к себе или нет?

Сергей покосился на идущего позади Фатея и неторопливо, словно подневольный, стал сворачивать к своей избе. И тут случилось невероятное...

На крыльцо, покачиваясь, вышла в белой нижней сорочке Евдокия Ивановна.

– М... мам! – натужно промычал Сергей. Он остановился, вглядываясь в родное лицо с чувством радости и страха. Но страх быстро проходил...

И горячие слёзы хлынули из глаз Сергея.

Потрясённый Фатей тоже остановился.

– Что с тобой? – забеспокоилась Аннушка.

– Ни... ничего! – выдавил Фатей и, приходя в себя, добавил: – Всё хорошо!

Он почувствовал, как с души свалился гнёт, мучивший последние дни, и его душа – как бывало в минуты особого умиротворения и радости – смело рванулась в широкое небо и, соприкоснувшись на мгновенье с вечностью, ощутила, что беспощадное солнце, терзающее человеческую плоть, не властно над ней...

А вдоль деревенского порядка бежал, названивая в колокольчик, счастливый Митя Блаженный:

– Перемена! Перемена!